

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

РАННЕЕ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

Раннее (сборник)

«WebKniga»

Солженицын А. И.

Раннее (сборник) / А. И. Солженицын — «WebKniga»,
— (Собрание сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1357-2

В восемнадцатый том 30-томного собрания сочинений А. И. Солженицына вошли его повесть в стихах «Дороженька», неоконченная повесть «Люби революцию», стихи. Их публикации предпослано авторское пояснение: «Здесь помещены мои ранние произведения тюремно-лагерно-ссылных лет. Я складывал их в уме и нёс в памяти все лагерные года, не доверяя бумаге. Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять». Тексты снабжены обширными комментариями.

ISBN 978-5-9691-1357-2

© Солженицын А. И.

© WebKniga

Содержание

Дороженька	6
Зарождение	6
Вступление	8
Глава первая. Мальчики с луны	9
Глава вторая. Медовый месяц	20
Глава третья. Серебряные орехи	31
Глава четвёртая. Ту, кого всего сильнее...	40
Глава пятая. Беседь	58
Глава шестая. Ванька	70
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Александр Солженицын

Раннее

- © А. И. Солженицын, наследники, 2016
© Н. Д. Солженицына, составление, 2016
© В. В. Радзишевский, комментарии, 2016
© В. Калныньш, макет и оформление, 2016
© «Время», 2016

* * *

*Здесь помещены мои произведения
тюремно – лагерно –сылных лет.*

*Я складывал их в чужие и чужие в памяти
все лагерные годы, не доверяя бумаге.*

*Они дали моим ذخанием и жизнью
тогда. Помоги мне выстоять.*

*А. Солженицын
2004*

Дороженька *Повесть в стихах*

Зарождение

Чернеют вышки очерком знакомым.
От вышки к вышке день сочится над державою.
От зоны к зоне звонами подъёмов
Задолго до свету ликуют рельсы ржавые.
Похлёбка с рыбкой кошачьей, мучная затирка.
В прохуженном, пролатанном томительный развод.
Идут работать лагеря! И наша каторга
Четырежды клеймённая идёт.
Так будет год. И десять так. И так же двадцать пять.
Всё то же самое. Опять. Опять.
Обыскивать. Считать. Обыскивать. Считать.
Запаять за спину, покорные, по пять,
Бушлаты чёрные, вступаем меж тулупов,
Как медных статуй в отблесках кострового огня,
И, спины сгорбивши, глаза потупив,
Идём, как будто бы кого-то хороня.
Да каждый день и хоронят кого-нибудь –
На палец бирку голому. Для верности – прокол штыка...
Заря.
И – день.
Жестоко-медленно катится солнце по небу,
Искрит о землю мёрзлую безсильная кирка.
Не будет, не было сверкающего мира!
Портянка в инее – повязкой у лица {1},
О кашах спор да окрик бригадира, –
И – день, и – день, и – нет ему конца!
К закату стынет степь. Встаёт луна багровым диском.
Во тьме толкаемся, скользим, спешим к себе в загон,
Бригадами суровыми
Врываемся в столовую,
Где доходягу, лижущего миски,
Казнит презреньем лагерный закон.
Глотаешь жадно щи, не видя где ты, с кем ты, –
А через стол, в пару, над глиняной посудой,
То обнищавшее лицо интеллигента,
То дистрофией обезволенная удаль.
Но тот, кто время здесь расчёл, – расчёл его неплохо.
Не обменяться словом нам, лишь только вздохом.
Опять, опять гудит над лагерем звонок.
Тебе в один барак, а мне в другой.

Проверка. Строем под замок.
Отбой.
Не кончено, не верь! – Я знаю, жду, но мне
Не победить, не разомкнуть ни на щель век усталых.
Едва уснём – *звонок!!* И в ослепительно торжественной луне
Мы, как в плащах комических, выходим в одеялах.
Выходим клокоча, выходим проклиная,
До самых звёзд безжалостных всё вымерзло, всё ярко, –
И вдруг из репродуктора, рыдая,
Наплывом нанесёт бетховенское *largo*.
Я встрепенусь, едва его услышу,
Я обернусь к нему огрубевшим лицом, –
Кто и когда узнает и напишет
Об этом обо всём?
Со светлым пониманием, не в гневе –
И надобно *теперь* писать, теперь! Довлеет злоба дневи,
Но равнодушен день к минувшим дням.
Едва ворочаются мысли жерновами,
Чуть вспыхнет свет в душе по временам –
*«Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам»!*{2}
Свой круг начну и я. И поведу – стихами:
Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь
Такой ценой открывшуюся речь!
Тогда напрасно вы по телу шарить станете –
Вот я. Весь – ваш. Ни клока, ни строки!
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти
Вы не дотянете палаческой руки!!!

Мой труд! Год за год ты со мной созреешь,
Год *по* году Владимиркой пройдёшь {3},
Наступит день – не одного меня согреешь,
Не одного меня ознобом обоймёшь...

Вступление

Где и когда это началось?..
Друг мой издавний, – когда?
Чистое стёклышко мира ребячьего,
Грозно дохнув, замутила беда?
Вспомним ли крест перепутья
Трудного,
Скращенных прутьев
Над нами тень,
Ужаса безрассудного
Первый день?

Изредка нам проступали зримо
Знаменья страхов *потусторонних*{4}, –
Мы проходили вчуже, мимо,
Скрывши лицо в ладонях.
Слабым, хотелось нам просто
Забыть их,
Лад своей жизни оберегая,
Дом свой, уют свой, вещи –
Поступь
Событий
Зловещих
Минула, не задевая...

Так и теперь, когда стонами
Наша душа пролилась, –
Те, кого это не тронуло,
Думают ли о нас?..
Не слышать, имея уши,
Не видеть, глаза имея, –
Коровьего равнодушья
Что в тебе, Русь, страшнее?

Глава первая. Мальчики с луны

Странствовать!.. Ликует сок бродяжий!
Дорвались и мы с тобой до воли!
В двадцать лет – сопеть на крымском пляже?
Наша, наша! – бьётся на приколе –
Вёсла сложены, как связанные крылья,
Просится в полёт!
Водяной зеленоватой пылью
Обомшелую бударку обдаёт.
Первобытно раздувая городские ноздри,
Тянет с Волги свежестью, и остро
Побережье пахнет рыбой и смолой.
Хлеба – не купить. Припасено немножко
Сухарей у нас да пуда два картошки,
Высыпанной в ящик носовой.
Не щенки мы, нет! – как мореходы встарь,
В краску белую макая голый палец –
Уж давно продумано: «*Волгарь* –
Скиталец».
Ну, толкай! *Примат материи*, на слове не лови,
Всё же – Господи, благослови!.. { 5 }

—

Звон и гуд... И тракторы рычат у перевозов,
Кони ржут, скрипят грузовики,
Сизо-масляна идёт вода с навозом,
И толкутся волны поперёк реки.
Густо-чёрный выстилая дым,
Буксирок, вцепившись невподым,
Тянет баржи две, как две скалы.
Двухэтажные, легки, белы,
Разминутся пароходы, радостно гудя.
И деревни целые – плотами
С избами, коровами, бельём и петухами
Медленно спускаются, реку загромоздя.

А и в русле не одна дорожка:
Не гребём – течение выбивает
В мирную воложку,
В нераспуганную тишь
Рыба на-солнце серебряно взиграет,
Юркнет птица в островной камыш.
Изливает с неба синева.

Вёсла трепетные вывесим – и движемся едва.
Что-то дед смолёный ладит топором...
С ним малыш, две удочки забросил...
Нестерпимо брызжут серебром
И топор, и капли с наших вёсел...
И опять затягивает в стрежень.
И блеснёт едва повыше осоки
Уцелевшей церкви в глубине побережья
Крест – и серенькие куполки...

Вечер. Солнце западёт за берег горный,
И вода сгустеет в изумруд,
И огни зажгутся в белых знаках створных,
Шумы дня притихнут и замрут.
Отразятся с кручи в стынувшие воды
Скалы, обнажённые породы,
Купы лиственных и пики чёрные хвои, –
Бакенщик, старик рыжебородый,
Объезжает бакены свои.
И уж на ночь, только солнце сгаснет,
Водный путь отмечен столбовой –
Там, где *горный* берег – бакен красный,
И – зелёный там, где *луговой*.
Исчезают тени, и мягчеет небо.
Проступает точка первая Денеба{6},
Все созвездья выводя изглубока.
Плёт утих. Ни лодки рыбака.
Осеньет Волгу только звёзд шатёр.
Ну, и нам на берег: сушняка
Подсобрать да развести костёр.
От костра всё сразу потемнеет –
Волга, небо, побережья глубь,
Мы – к огню плотней и ждём, пока поспеет
В котелке картошка или суп.
Из-под крышки сладкий пар клубится,
Зверь-костёр клыками сучья рвёт,
По воде прошлёпают неслышно плицы{7},
Проскользит, сверкая, пароход
И, по тёмной глади бледным светом мрея,
В полноту беззвучной ночи канет...
В смуглых отсветах лицо Андрея,
Лоб его печаль пытливая туманит.
Внутренне сцеплённых выводов коварство
Вот не ждал, куда его направит! –
«Оглянись, Сергей, подумай.
Чувствуешь, как *давит*
На тебя, на всех нас – государство?»
Я смотрю на звёздный свод извечный,
Слышу вольный шорох всплесков в тишине

И от всей души, чистосердечно
Удивляюсь: «Давит? Государство? Не-е».
После гребли по телу приятная истома,
Что к краям – расплывчатей лицо освещено...
Как давно, дружище, мы знакомы,
Как давно!..
Помню твоей детской курточки вельвет,
Несогласие упрямое с немецкими глаголами,
Наши шахматные страсти, меж двумя
футболами.
Вместе нас кружил извивами весёлыми
От Байдар к Ливадии велосипед,
Подымал Военною-Грузинскою от Ларса.
Вместе аттестаты понесли в Универс'тет{8},
И обоим нам ударил буйный свет
Гегеля и Маркса.
Математика. И физика. Но для души
Их священной строгости нам оказалось мало:
Подлинно, что точные науки – хороши,
Да не строгости, а счастья людям не достало.
И пошли на исторический в МИФЛИ,
Порешив, что с парой факультетов справимся,
И давно согласно к выводу пришли:
«Мы нам нравимся».
Как не нравиться, когда так чётко сведены
К стройным формам мир и человек?
Сколько нами дивных вечеров проведено
В мудрой тишине библиотек!
Сколько раз не хожено в кино!
Сколько жертвовано вечеринок!
Я безумец, я фанатик, – но –
Но Андрей мой – инок.
В миллионном городе, в блистании огней,
Там, где вечер – лучшая пора,
В пять минут десятого ложится спать Андрей
И встаёт – чтоб думать – в пять утра.
Как по Канту время мерь –
он в шесть пройдёт по дворику
И вернётся записать, что понял
в утре чистом.
Хочет стать он, как и я, историком,
Но для этого ещё – экономистом.
Том за томом я гоню взаглот,
Я истерзан весь, я в спор нырну с наскока,
Взор застит восторженно слеза, –
Он мне тихо, мудростью Востока:
«Прежде, нежели открыть свой рот,
Друг, открой глаза!»
Это – то влечение, род недуга,

О котором написал поэт:
Книга, стол и мы друг против друга, –
Никого на свете больше нет!
Распадутся волосы-неулежни мои{9}
Над лицом горячечным, но бледным,
Ближе – сходимся – яснеем – и! –
Запись отточённая о выводе последнем.
И не жаль обоим эту странную,
Без вина, без девушек сухую юность нашу...
...Вот и ужин! Ложки расписные деревянные
Мы вонзаем в ячневую кашу.
После ужина на сене в лодке мягко.
Лёгкой зыбью чуть вздымается корма.
Всю Историю – от нас до братьев Гракхов,
Высветил прожектор Марксова ума.
Маркс! – как меч, рубящий путаницу партий!
Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта,
Только-только вылупясь из жёлтеньких скорлуп,
Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!
Есть закон движения! Другого Абсолюта
Нет! И как там было – сердобольно, круто,
Нравилось, не нравилось, – минует постепенно.
Всё пройдёт: Сената гнев и куриный плеск и пена.
Желчь упрёков, звон разящих слов
Не всплывут на высоту веков.
Воин Рим, бронёю перевитый!
Шаг Истории, не знающей пощады! –
Гордое отчаянье самнитов,
Умное безсилие Эллады,
Ярость Брута, Ганнибала гений –
Всё должно быть сметено и сбито,
Что само не станет на колени.
*Dura lex, sed lex*¹. Во всём закон.
Ничего, что б в сторону свернуло.
Ничего? И даже шут Нерон?{10}
И кровавое захлёбыванье Суллы?
Фатализм! Эkleктика! Неверно!..
...Но Андрей молчит и дышит мерно
В лад дремотным заплескам волны.
И спине тепло от дружеской спины.
За ночь иней нас покроет впробель.
Утром вспрыгнем, зубы бьёт ознобик,
И – бултых в синеющую воду!
Холодом озноб тот вышибить приятно!
И – бегом, в чём родила природа,
По камням! на взгорки! и обратно
На песок! поборемся! и в танец!

¹ Закон суров, но это закон (*лат.*).

Дикарём разнузданным пляши,
Пока тело вызорит румянец,
Да ори! – всю Волгу полоши!
А теперь хватайся каждый за весло –
Оттолкнись! Понесло!

—

Солнышко пригреет – не гребём, лежим.
Лодку сносит тихо, мы себе зубрим –
Снова диамат, латынь и древний Рим.
Купим яблок, тут их мерят на ведро,
И грызём, и дремлем... Всё б у нас добро,
Только ни брезента, ни плаща –
И на небо часто смотрим, трепеща.
От грозы, дождя мы беззащитны.
Как нам стал понятен первобытный
Ужас перед силою богов:
Только что покинули мы крыши
Наших равнодушных городов –
И уже иначе видим, слышим,
Туча наплывёт – мы сжались, мы не дышим,
Ветер кажется – злопамятный, живой,
«Завтра я...» – не скажем, верим в глаз дурной.
Завтра день – смотри ещё какой!..
На недели тучами затянет
Небо. Будет Волга холодна,
Заколышется, волною спорной станет
Глину выворачивать со дна.
Попадись тогда на волнобое!
Повернись бортом! –
Пляшет, мечется седое, водяное
То на этом, то на том!
Берег в брызгах. Чёрно дышат трубы.
Грязь на пристанях. И дождь – безугомонь.
Шутки грузчиков и ругань дерзко грубы,
Но и труд их стоит этой ругани.
Экую ворочают махину!
В сорок рук вздымают! Ну как рухнет?..
«Э – э – эх, ду – би – на!..
Ух – нем!!
Зелёная! Сама пойдёт! Сама пойдёт!
Подёрнем! Подёрнем!»{ 11}
Вымахали с покриком задорным –
Там, голубушка! – и с паром, хрипом, храпом
Сыпят, топают, валят на берег трапом.
Те мешки подкинули, те бочки катят ловко...

Третьяковка??

Обогнали Англию в лебёдках, кранах, планах, –
Так откуда ж этих дьяволов-то рваных?!

—

Дождь и дождь. Уж нам не плыть сегодня.
Подгребаем к дебаркадеру под сходни –
Всё же крыша, хоть и брызжет из щелей –
И идём в черёд порыскать чаю.
Новодевичье в лаптях тебя встречает
И в азиях рваных Сенгилей.
Райпартпрос, Райком и Райкомол,
Райуполминзаг и Райзаготконтора.
И районный юродивый, полугол,
Смуглогрудый, кланчит у забора.
Чаю мне! – продрог на сумрачной воде.
Раймилиция. Райплан. И РайНКВД.
Мокнет «Правда» на витринке. С тёмно-хмурых
Сеет мелкий-мелкий дождь с небес.
Райтюрьма, Райсуд и Райпрокуратура,
Райсоцстрах, Райздрав и Райсобес.
Там, где, дети горя и отваги,
Бурлаки под бичевой тянулись в напряге, –
Закрывая полки голые, в Раймаге
Продают физическую карту... Африки...
На столбах бубнят колхозные частушки
Близ Райклуба громкоговорители,
Под забором рубят головы косушкам
Жители.
Нет теперь ни *кабаков* на Волге,
Ни *Николки* нет, ни *монополки*, {12}
Ни в церквях колен не гнёт никто, –
«Эй, молодка!
Литру водки!
Два по двести!.. Три по сто!»
Пар одежд сырых и сизый дым махры,
Окна мутные, спиртовые пары.
Густо-густо вокруг некрашенных столов –
«Нам салатику! – вопят, рыдают, – огурцов!»
Вот охотник смяк, склонясь к дробовику,
Ловит блох борзая под столом.
«Будьте так любезны! Дайте мне чайку!»
– «Ча-ай?? Не подаём!»
Над столами русский чин трисловьями порхает,
Лица смотрят масляно, слепо.
И ревут «Златые горы», оглашая

Чайную Райпо.

И лохматый грузчик, мой сосед,
Дядя Миша, мужичина-глыба:
«Чаю зря ты, малый, просишь. Чаю нет.
На сто грамм перцовки».
– «Я не пью. Спасибо».
– «Ах, *культуриши руссиши!*.. Ну, кажи свой ум.
Ну, скажи, что водка – это *а-пи-ум...*»
– «Хвастать тоже нечем. Лёгкие и печень...»
– «Хо! Ты – тюря! Печень! Этим душу лечим!
К-комсомолец! Пожалел!.. А дать тебе винтовку,
Да – на вышку?... { 13 } Ну, не зявься, выпей
стограммовку.
И мои б такие были... Пей, не брезгуй».
– «Где ж они?»
– «Сопрели. Под сосной карельской».
– «Отчего ж?»
– «А это очень просто мы:
В тундру высадили голыми да босыми,
Ну, а в тундре и волкам не рай.
Рыбу пальцами словить сумеешь – ешь.
Ягоду найдёшь дикую – собирай!
Хочешь если, так друг дружку режь.
Хочешь – помирай...»
– «Но простите, но за что же вас?»
– «Ты – с луны? *В тридцатом-то?*
Не знаешь, что да как?
Потому что был сочтён кулак,
Ну и... Ликвидировать. Как класс.
...Я за землю, парень, да за волю,
Да за эту грёбаную власть
Шёл на Колчака...
Землю дали – тёр, дурак, мозоли,
А они меня – ша-расть
В кулака!
Да кого ж она, земля, не богатит,
Если только вкалывать здоров?
Государство! Что ему претит,
Если у крестьян да по три пары лошадей?»

—

Юность верит. И она права.
...Но прошло-то года, слушай, *двадцать два!*
До каких же пор мы будем зря
Сваливать на бедного царя?
Зафиксируем: в раймаге – ни черта?

Это – нищета?
Тише! Тише! Склонность к выводам
поспешным.
Никакой прогресс не может быть безгрешным.
Отклоненья, исключенья – кто же говорит?
Ведь писал Истории законы не Эвклид! {14}
Роят трудно, роят по-кротовьи,
А оглянись – и мир уже не тот.
Жестоко? Приходится и кровью
Заплатить за тяжкий путь вперёд.
Мы не только что не против –
мы оправдываем даже:
Ликвидировать? Конкретно – как? Куда ж их?
В тундру. В дикий лес.
Dura lex, sed lex.
Трудно мы живём. Дай время, будет лучше.
Внуки примут жизнь, не зная, как далась...

—

Вот и солнце прорвалось сквозь тучи,
И покорно Волга улеглась.
Так за вёсла твёрдую рукою!
Поплыли,
Где на двести вёрст Самарскою лукою
Волгу отшвырнули Жигули {15}.
Сладость есть и в малом и в великом.
Между сосен, вперегонку, с перекриком
Вымахнуть, запыхавшись, на кручу! –
Тут раскинуться на выгретой, пахучей
И никем ещё не топтанной траве;
Отдаваясь тишине дремучей,
В небо жмуриться без мыслей в голове,
Никому и ничего не должен...
Жи-гу-ли!.. Какая-то в вас правда!..
Раздробилось зеркало в Заволжье
И застыло в озерах-бакалдах.
Нет течения! Плёсы недвижимы.
Близко дальнее, а крупное –
мало непостижимо.
С коробок от спичек – баржа на подчале.
Замерла ли? Тянут её таском?
Хоть заплачь от этой веющей печали!
Хоть христосуйся – такая в сердце Пасха!..
Мирный бор овершьями колышет,
Запахом смолы и солнца пышет.
Жёлто тлеют иглы в медном сосняке.

К югу, поверх сосен
Облачко относит
Медленно, в покойном высоке.
Под травой краснеет земляника,
И грибы столпились возле пней.
Разве в малом меньше, чем в великом,
Веской мудрости коротких наших дней?..

—

Через день взгляни на правый берег –
Сланец, скалами пластованный, белесый,
Стук стволов паденья, пил железный верезг,
Люди серые с лопатами, кирками
Горы облепили муравьями.
Экспаваторы, лебёдки, вагонетки,
Грохот, скрежет, и столбится едко
В лёгкие и в небо каменная мгла...
Это будет чудо Третьей Пятилетки –
Перемычка Волжского Узла.
О, грядущее переустройство мира!
Мы войдём в тебя наукой и умением!
...А кому кирку?.. Не из-под наших кирок
Пусть разбрызгиваются камни!
Привезут, найдут неученную рать, –
Что над этим голову ломать!
...Так мы плыли в гладком беззаботьи,
И, наверно б, нам на ум не вспало:
Что за люди там кишат в лохмотьях?
Что за люди бьют вручную скалы,
Катят тачки в гору по тропинкам? –
Сам, как глина, побуреет человек...

В невесёлом месте, в Красной Глинке{ 16},
Мы однажды стали на ночлег.
Правый берег вскопан, взбугрен, бурый.
Штабелями досок и бревён,
Мусором, щебёнкой – левый завалён.
Перекатом Волга мчится хмуро.
Мы причалили, да плох нам выпал сон:
Выстрел. – Новый. – Очередь. – И ржавый
Звон от рельс на нашем берегу.
С фонарями в зарослях облава
Заплясала, заметалась на лугу.
Засветились пристань и бараки,
Шли моторки, воду Волги пеня...
Из моторок прыгали собаки,

Заливаясь в ярости и пене,
За собой вожатых мчали в темень,
Хрипло лаяли и обрывали привязь,
Кто-то выволок на берег пулемёт.
Словно в бой, с винтовками навывес,
Пробежал запыхавшийся взвод.
Не понять – война или охота?
Ладно, греемся; не трогают – и рады.
Вдруг у нас над самым ухом кто-то:
«Вот они! А ну, вставайте, гады!
Подымайтесь! Застрелю, заразы!»
Шутки плохи, тут не отлежаться.
Из-под одеяла высунулись разом –
Вислоухие испуганные зайцы:
– «Мы – туристы. Что вы к нам, товарищ?»
Но *товарищ* плюнул от обиды.
– «Хто? Туристы?? Шляются здесь, твари...
Чтобы я на Волге больше вас не видел!»
Перекошенный, разгорячённый,
Освещён недоброй дрожью света,
Пляшущую руку с пистолетом
Долго опускал он, огорчённый.

—

Их всю ночь ловили. С места заклятого
Мы ушли под утро, торопясь уплыть,
Чтоб не рвать, что в сердце дорогого.
Чтоб не думать. Чтобы позабыть.
Подымалось солнце над лугами.
Красное, в торжественной игре,
Жигули оно зажгло, как пламя,
Озарило мёртвые машины на горе,
Раздробилось радугой росяной через лес,
Багряницей разостлало водной глади скатерть, –
И вот тут-то вывернулся нам наперерез
Арестантский катер!
Он скользнул, едва нам нос не срезав,
И послал короткий частобой,
Он прошёл, как будто гром железа
Кандалов рассыпал за собой.
Бугорками волн взбелели волоконца,
Закипела, забурлила полоса реки –
Эти лица! лица, обернувшиеся к солнцу!
И с бортов – конвойные штыки.
Вот они, кто там кирками машут! –
Только нескольких и рассмотрели мы.

Кто они?.. За что их?.. Не расскажут...
Тихие, стояли у кормы.
Что-то было в лицах их заросших,
В складках, не черствеющих у глаз,
От чего пахнуло всем хорошим,
С детских лет несбывшимся повеяло на нас.
Оба без отцов, ведь мы и шли бродяжить
По краям родной неведомой земли,
Чтоб мужскую взвесить эту тяжесть,
От которой матери, солгав, уберегли.
Нас заметили. Переглянулись.
Может, вспомнили своих мальчишек-сыновей.
Чуть заметно
Вслед нам
Улыбнулись,
И у каждого по-своему взметнулось у бровей.

И – промчало катер. И Андрей в сомненьи
Протянул: «А что, сейчас бы к Самому
Молодой, второй явись бы Ленин, –
Он бы – не попал в тюрьму?..»{ 17 }

Глава вторая. Медовый месяц

*Несу я сознание мира.
Боюсь, что не в силах донести.*

В. Гофман

До опушки – один переклик без малого.
В сени яблонь при тлеющем самоваре
Вечерами чают московские баре:
Слева в садике спорят о *Ваське* Качалове,
На террасе направо читают сценарий.
За кустами белеют мужские фигуры,
Праздных женщин движения – не легки, –
От самих же себя, от своей же культуры
Убегают на лето сюда толстяки –
От редакций и секций, премьер театральных,
От квартирных теснот, телефонной судьбы, –
Убегают сюда, в край ремёсел вышивальных,
Безпривозных базаров, прилавков печальных,
Где сельпо продаёт лишь сухие грибы.
Оттрубивши своё песнословие веку,
Отнеся гонорар к Елисееву{ 18 },
За сто вёрст сюда сахар везут по рассеяню,
Чемоданами сало и бэкон,
Для хозяйки сговоренной – ситчику в дар,
Для работы полуночной – пачки сигар,
Кофе в зёрнах, вино и запас керосина.
...Над Тарусою сумерки звёздные сини,
Слышен блюдечек позвон и пенье гитар.
Ждут их осенью кассы столицы грешной
И страницы журнальной хвальбы.
В ряд их дач, не по чину – бревёнки потешной,
Кругляши нашей маленькой тихой избы{ 19 }.
Нет в саду у нас кресел и столика чайного,
Нет огней и гостей под навесом крыльца, –
Всё вдвоём... И на пальце твоём – обручального
Золотой отлив кольца.
Нет у нас нагруженного доверху ледника,
Порожнём мы с базара приходим нередко,
Но как мило хлопчешь ты в белом переднике,
Увильнув: «Подгорит», убегаешь к загнетке.
...Драгоценного света дневного крупницы
Вот-вот-вот разойдутся меж теней вечерних, –
Дальше-дальше в окно, ближе-ближе к странице
Я слеплю себя строк неразборчивой чернью.

И уж всё отшвырнуть бы давно мне пора,
Встать, схватить тебя за плечи, закружить, –
Не могу, не додумавши, отложить
Годы царствования Петра.
Всё понятно – *прогресс*! А сидит во мне ересь:
Всю страну на дыбы – по какому праву?
Запишу! Назову его – «шведский тезис»,
Оправдала ли цену свою Полтава?
Двести лет всё победы, победы, победы,
От разора к разору, к войне от войны, –
А разбитые нами на Ворксле шведы
Разжирели, как каплуны.
Рок зловещий российские полчища водит.
Славы мало!
Земли не достало! –
Да...
Видно, слово «победа» не зря происходит
От слова «беда».
Погоди ж, дорогая, окончу, дочту,
Тени вечера выйдут из-за леса –
Мы пойдём, обнявшись, и на нашу чету
Будут встречные взглядывать с завистью.
Вот не думал, что буду на даче
Жить, как дачник исправный живёт...
Есть у каждого годы удачи,
И таким обернулся мне минувший год{20} –
Словно звёздным дождём мне дороги усыпало,
Словно горы верстались мне по плечу,
Словно есть это счастье, и мне оно выпало:
Всё могу, чего захочу!
Под ногами любая наука стлалась,
Быстромудрые бесы вселились, казалось,
В грудь мою – и толкал меня каждый бес,
Одержимый мгновенными планами,
Томы будущих лет выросли до небес
Краснокрылыми великанами,
И вползла ядовитая слава. О славе
Где те юноши, что не чахли?
Незнакомые девушки письма мне слали,
И таинственно письма их пахли.
Содрогалась Европа надменная, отдана
Шагу армий, невиданных раньше,
Чёрным гневом возмездия небо над Лондоном
Застилалось из-за Ла-Манша,
Воды пенились, судна роились,
Напрягались десанты, готовясь к прыжку... –
В это лето мы поженились
И поехали на Оку{21}.

—

Мы привыкли к южным степям –
Золотая в сто вёрст ладонь,
Ни единого взгорка там
На бегу не встречает конь,
И нигде ни единый лесок
Не вклиняется в звень пшеницы,
И, едва только вспыхнет восток, –
Степь до запада озарится.
Здесь же – падей прохлада, здесь – синяя тень,
Ямку каждую дождь наливает всклень,
Позарос, весь в отрожках изрезан овраг,
Там спустился в него, там поднялся большак.
Сосны стройные веют на взлобке,
Между ними – дубы вперемес,
Там – ольха, там – берёза. Подыдемся. Робко
Вступим в бело-зелёный лес.
Это счастье
Даётся не часто,
А не каждый его оценит –
Забрести вот в такую чашу,
Где листов прошлогодних олово,
Положить к тебе на колени
Голову.
Солнце еле пробрызнет сюда,
Небо еле сюда просветит,
Разве только, беспутный чудака,
Забредёт, заблудившись, ветер
И доносит, как где-то аукают
И хохочут девчёнки-грибовницы,
Помавая ветвями, баюкает:
«Всё достигнется... всё исполнится...»

Жалоба

«А чему исполняться? Чему?
Я о большем и не мечтала.
Всё исполнилось. Почему
Тебе этого счастья мало?
Мало нравлюсь тебе? Плетеницей
Из цветов себе лоб украшу.
Хочешь думать? Какую страницу
Распахнуть тебе в книге нашей?..
...Как бежал молодой дворянин

Со знаменем,
Как очнулся он навзничь, раненым,
С небесами один на один –
И увидел, какой
Покой
Был по небу высокому разлит.
В суматохе большого боя,
Когда к славе рвалась рука,
Разве
Мог увидеть он над собою
Эти медленные облака?...{22}
Но ведь мы-то, ведь мы-то можем!
Посмотри – и сейчас плывут.
Что же ищешь ты, что же?
Я не верю, что люди на свете живут
Кроме нас и ещё там где-то,
Когда ты меня обнимаешь...
Повторяй мне, что любишь меня, только это,
Понимаешь?..
Ты настойчиво, ты упорно
Что-то хмуришься о своём.
Не легко тебе, не просторно
Со мной вдвоём?
Выпить, вытянуть сердце из груди,
Чтобы мой был, чтоб мой был весь!
Я не знаю, что завтра будет, –
Я люблю, что сегодня есть.
Только ты ведь обманешь: кольцо
Моих рук на заре разомкнёшь –
Почужевший, холодный, уйдёшь
Карла Маркса читать на крыльцо.
Станет звонкий пастуший рожок
По заре собирать своё стадо,
Я проснусь и увижу, что рядом
Нет тебя, что опять уволок
Тебя жребий твой, выбор жестокий.
Я неделю всего как жена,
А опять просыпаюсь одна
И полдня провожу одинокой.
Милый, славный, ты брови не хмурь
И не бойся – я не заплачу.
Значит, надо забыть мою девичью дурь, –
Мне ведь всё представлялось иначе.
Не мужчина я. Жалобу слабости
Ты прости мне на этот раз...»
И украдкой влажные заблесты
Она пальцем снимает с глаз.
Вот оно!.. Я кошусь с опаскою
На лицо неразгаданно женское...

—

Вспоминаю: акации спуска Крещенского,
Седину оснежённого Новочеркасска...
Мы проходим вокзал, за вокзалом крыльцо,
В сто одёжек окутаны, ждут лихачи, —
И у каждого жёлто манит копьёцо
Недрожаше-горящей свечи.
Полусонного мальчика взяв из вагона,
Высоко посадив, меня взвозят покачливо
В город, на гору, — фаэтоном
Меж сугробов, огромных взгляду ребячьему.
Фаэтон проплывает спокойно, как лебедь,
Лёд цветится огнями в оконных рамах,
И сияет луна в замороженном небе,
Отражаясь в крестах и на куполах храмов.
Позади пятиглавой громады собора —
Попирающий камень строптивый Ермак,
Что ни дом — за твердыней ворот и забора
Взаперти от Советов упрямый казак,
Сберегая течение обычья богатого,
Своедомно живёт, как живали отцы.
Двудорожным широким проспектом Платова
Заливаются лёгких саней бубенцы:
— Эх ты, удаль-тоска, раскружить тебя не на что!
Хеп-па-па-берегись застоялых зверей!! —
Богомольный народ, разбредаясь от всенощной,
Подаёт милостыню калечным и немощным
На изглаженных папертях стройных церквей.
Их степенному шествию дерзко не в лад,
Хохоча и толкаясь, студенты валят,
Неуёмные, жадные жить, несытые,
В институтской столовой свой ужин выстояв, —
На свиданья, в читальни, в кино, в общежития
Тротуарами улицы Декабристов{23}.
И гудят до полуночи лаборатории,
Ослепительный свет над столами чертёжников,
В клубе — диспут любителей Новой Истории
И Союза Воинствующих Безбожников.
А за ставнями тихих домов затаивший
Неушедших, непойманных, белых, *бывших* —
Что за город такой? Всё кипит, но ни слова
Не сойдёт у прохожего с замкнутых губ, —
Стольный город разбитого Войска Донского, —
Антиквар, книгочей, книголюб.
Слишком мал понимать, только шурю глазёнки,

Как на срубе звенящей играет луна,
И не знаю, что в доме, – вот в этом, – ребёнком,
Моя будущая растёт жена.

Семилетье российской лихой безвременщины!
Свист и дым по стране от конца до конца! –
Сколько нас воспитали пониклые женщины,
Сколько нас не знавало руки отца!
Пятилетнею девочкой в кружевах
Ты отведала первых учений тернии,
Изъяснялась в учтивых французских словах
И разыгрывала этюды Черни.
Ни за дверь, ни в толпу! (Наберётся, *ma chère*,
Этих выходов, этих манер!)
Тем охотней узнала ты книгам цену,
А в семейном кругу, в воскресенье,
Дверь из комнаты в комнату делала сцену
Для домашнего представления.
И когда собирались по сходству подружки,
Повелитель был обществу вашему нервному
Реже – добрый весёлый Пушкин,
Чаще – жёлчный презрительный Лермонтов.
Лет в четырнадцать сердца отчётливей стук,
Что-то смутно томит, что-то поймано понаслышке,
Но *посмотришь с холодным вниманьем вокруг*, {24}
А вокруг – маль-чишки!..
Так пускай литераторша мажет тетрадки,
Пусть галдит, что герой ваш – одни недостатки, –
Разве это в его фосфорическом взоре?
Бледном лбу? сжатых губ? и в усах завитых?
Через всё полюбился девчёнке Печорин!
А Печорина нет давно в живых.
Ждёшь, что жизнью тебе уготовано диво,
Но проходит юность, в меру счастливо,
В меру ровно, – а дива нет.
Выпускные экзамены сдав торопливо,
Поступаешь в Университет.

...Образ к образу рядом затенчивым,
Местом меркнувшим, местом ярким,
То я вижу тебя на балу студенческом,
То в измученном зном вечернем парке.
Не Печорина – духов сомнения едких,
Подмело их при сталинских пятилетках.
Их приносное семя и раньше-то плавало,
Не ныряя по омутам русской реки.
А коряги в ней – мы, убеждённости дьяволы, –
Духоборы, самосжигатели, {25}
Бунтари, проповедники, отлучатели,

Просветители, вешатели, большевики!
Угроздило же тебя родиться
В тре-тревожной стране, под разбойный шум,
Где как прежде, где в каждом десятом таится
Протопоп Аввакум.
Однолюб. Однодум.
Я! Я верю до судорог. Мне несвойственны
Колебанья, сомненья, мне жизнь ясна,
И влечёт меня жертвенное беспокойство
От постели, от нежности, ото сна.
Рвёт и рвёт моё мясо Дракон,
И где лапу положит – отдай, оставь ему! –
Это Горе Истории, Боль Времён,
Мне волочь его, как анафему!
Да, я звал тебя, звал. А дороги круты.
Я зачем тебя влёл? В каком чаду?
Не иди! Ты слаба. Переломишься ты! –
Я не знаю – я ли дойду...
Рай зелёный... Ничто не радует.
Там столицы взрываются, бомбы падают!
Вся планета в ознобе! планета в трясении! –
Вот! Пишу:

Моему поколению

Родились мы – не для счастья
Бредит, буен мир больной.
Небывалое ненастье
Захлестнёт нас! Будет бой!!

Перед тяжким наступленьем
Пусть же скажут правду нам,
Как умел Владимир Ленин
Говорить её отцам:

Враг – не трус, не слаб, не глуп он! –
В нас не верит тот, кто лжёт.
Мы – умрём!! По нашим трупам
Революция взойдёт!!!

Из Октябрьской мятели
Поколение пришло.
Чтоб потом цвели и пели,
Надо, чтоб оно – легло...

Уж не помню, ещё что слетело
С языка у меня в пылу,

Только помню: жена побледнела
И щекой прислонилась к стволу.

Так я бил, беспощадный и мрачный,
Словом *о* слово, в слово словом.
Этот месяц – первый побрачный,
Называют в России медовым,
Honey-moon окрестили его за проливом,
У французов он назван – *la lune de miel*,
Одарён и у немцев прозванием счастливым
Flitter-Wochen – поблескивающих недель.
Как обманчива ласковость этих названий!
Даже камни – притрёшь ли, не обломав?
Два бунтующих сердца! Меж вами
Кто виновен? кто прав?..

Ветер осени
Шепчет на уши.
Лес обрызгало
Желтизной.
Лето кончилось,
И пора уже
В грохот города
Нам домой.
Первый замороз,
Утро терпкое.
Окский катер.
Речная рань.
Дом Поленова{26}.
Старый Серпухов.
И дорога
Через Рязань.
Русских станций
Скончанье света.
Все вповалку
До загородок.
Лица в мухах.
Лежат в проходах
В полушубках.
И ждут билетов.
Нет билетов!
Посадки нету.
Манька, где ты?
Маманька, тут!
Кто с мешками,
Без *пропусков*,
С пропусками
И без мешков.
Смех и молодость

Нам защитой.
Ещё б с ними
Не уместиться!
Встречный ветер
В лицо раскрытое
Облохмачивает
Наши лица.
Звонко-кованый
Быстрый поезд.
Машет мельница
Вдалеке.
Мы уходим
В окно по пояс,
Прижимаясь
Щека к щеке.
Скоро станция.
Ходу сбавило.
– Отодвинься же.
Слышишь, милый?..
На полуслове

Вздрогнула Надя и руку мне боязно
Сжала. И я ей сжал.
С грохотом поезд наш вкопанно стал
Против товарного поезда.
Красные доски вагонов{27} измечены –
Нетто и брутто, осмотр и ремонт, –
Только окошки у них обрешечены
Да через двери – болт.
Красным закатным лучом озарённое,
Вровень над нами пришлось одно
Прутьями перекрёщённое
Маленькое окно.
Лбы и глаза и небритые лица –
Сколько их сразу тянулось взглянуть! –
Кажется, там одному не вместиться
Воздуха воли глотнуть.
В грязном поту, в духоте, в изнурении,
Скулы до боли друг к другу притиснув,
Глянули злобно на наше цветенье –
Выругались завистно –
Грубо плеснули в лицо нам побранку
Липкой несмывчивой грязью! –
Наш отлощённый состав с полустанка
Тронул с негромким лязгом.
Тронул, но ты-ся-че-ле-тье волок он
Нас! нас! нас! –
Вдоль новых и новых закрепленных окон,
Под ненависть новых глаз.

Резко проёмы вагонные хлопали,
Вот уж мы вырвались, вот уж мы во поле!..

Сумерки. Отблики топки по шпалам.
Низко курилась туманцем елань.
...Но как проклятье в ушах звучала,
Но как пророчество не смолкала
Та арестантская брань.

«Нет, не тогда это началось...»

Нет, не тогда это началось, –
Раньше... гораздо раньше...
В детстве моём обозначилось,
В песнях, что пели мне, няньча, –
Крест перепутья
Трудного,
Скрещенных прутьев
Тень,
Ужаса безрассудного
Первый день.
Книг ещё в сумке я в школу не нашивал,
Буквы нетвёрдо писала рука, –
Мне повторяли преданья домашние,
Я уже слышал шуршание страшное –
Чёрные крылья ЧК.
В играх и в радостях детского мира
Слышал я шорох зловещих крыл.
...Где-то на хуторе, близ Армавира
Старый затравленный дед мой жил.
Первовесеньем, межою знакомою
Медленно с посохом вдоль *экономии*{28}
Шёл, где когда-то хозяином был.
Щурился в небо – солнце на лето.
Сев на завалинке, вынув газету,
Долго смоктал заграничный столбец:
В прошлом году не случилось, но в этом
Будет Советам
Конец.
Может быть, к лучшему умер отец
В год восемнадцатый смертью случайной:
С фронта вернувшийся офицер,
Кончил бы он в *Чрезвычайной*.
Наши метались из города в город,
С юга на север, с места на место.
Ставни и дверь заложив на запоры
И оцитивши их знаменьем крестным,

Ждали – ночами не спали – ареста.
Дядя уже побывал под расстрелом,
Тётя ходила его спасать;
Сильная духом, слабая телом,
Яркая речью, она умела
Мальчику рассказать.
В годы, когда десятивековая
Летопись русских была изорвана,
Тётя мне в ёмкое сердце вковала
Игоря-князя, Петра и Суворова.
Лозунги, песни, салюты не меркли:
«Красный Кантон!.. Всеобщая в Англии!» –
Тётя водила тогда меня в церковь
И толковала Евангелие.
«В бой за всемирный Октябрь!» – в восторге
Мы у костров пионерских кричали... –
В землю зарыт офицерский Георгий
Папин, и Анна с мечами.

Жарко-костровый, бледно-лампадный { 29 },
Рос я запутанный, трудный, двуправдный.

Глава третья. Серебряные орехи

Мой милый город! Ты не знаменит
Ни мятежом декабрьским, ни казнью стрелецкой.
Твой камень царских усыпальниц не хранит
И не хранит он урн вождей советских.
Не возвели в тебе дворцов чудесно величавых
По линиям торцовых мостовых,
Не внесены ни Столп Российской Славы,
Ни Место Лобное на площадях твоих.
Не приючал ты орд чиновников столичных
И пауком звезды не бух на картах {30},
Не жёг раскольников, не буйствовал опричной,
Не сокликал парламентов и партий.
Пока в Москве на дыбе рвали сухожилья,
Сгоняли в Петербург Империи служить, –
Здесь люди русские всего лишь только – жили,
Сюда бежали русские всего лишь только – жить.
Здесь можно было жатвы ждать, посеяв,
Здесь Петропавловских не складывали стен, –
Зато теперь – ни Всадников, ни холода музеев,
Ни золотом по мрамору иссеченных писем.

Стоял тогда, как и сейчас стоит.
На гребне долгого холма над Доном, –
То зноем лета нестерпимого облит,
То тёплым октябрём озолочённый.
И всех, кто с юга подъезжал к нему,
На двадцать вёрст встречал он с крутогорья
В полнеба белым пламенем в ночную тьму,
В закат – слепящих стёкол морем.
Дома уступами по склону к Дону сжало,
Стрела Садовой улицы легла на гребень;
Скользило солнце вдоль по ней, когда вставало,
И снова вдоль, когда спадало с неба.
Тогда ещё звонили спозаранку,
Плыл гул колоколов над зеленью бульваров,
Бурел один собор над серой тушей банка,
Белел другой собор над гомоном базара.
Звенели старомодные бельгийские трамваи,
В извозчиков лихих чадили лимузины,
Полотен козырьки от зноя прикрывали
Товаров ворохи в витринах магазинов.
Как сазаны на стороне зарецкой,
Ростов забился, заблистал, едва лишь венул НЭП, –
Той прежней южной ярмаркой купецкой
На шерсть, на скот, на рыбу и на хлеб.

Фасады прежние и прежние жилеты,
Зонты, панамы, тросточки – и мнилось,
Что только Думы вывеску сменили на Советы,
А больше ничего не изменилось;
Что вновь простор для воли и для денег;
В порту то греческий, то итальянский флаг, –
Порт ликовал, как в полдень муравейник,
Плескались волны в Греки из Варяг.
Тогда ещё церквей не раздробляли в щебень,
И новый Герострат не строил театр-трактор,
И к пятерым проспектам, пересекавшим гребень,
Названия новые не притирались как-то.
Дышали солнцем в парках кружева акаций,
Кусты сирени в скверах – свежестью дождей,
И всё никак не шло тем паркам называться
В честь краевых и окружных вождей.
Внизу покинув гроыхающий вокзал,
Садовая к Почтовому вздымалась круто.
Ещё не став
«Индустриальных педагогов институтом»,
Уже не «Императорский», Университет стоял {31}.
Впримык к его последнему ребрёному столбу,
В коричневатой охре, на длину квартала,
В четыре этажа четыре зданья занимало
ПП ОГПУ.
Недвижный часовой. Из дуба двери входов.
Листами жести чёрной ворота обиты.
И если замедлялись на асфальте пешеходы,
То некто в кэпи их протрагивал: «Пройдите!»
А со времён торговли той бывалой
Складские шли под улицей подвалы.
Их окна-потолки вросли в асфальта ленту –
Толщ омутнённого стекла – и, попирая толщу ту,
Жил город странной, страшною легендой,
Что там, под улицей, – застенки ГПУ.
И по фасадам окна, добрых полтора.
Никто к ним изнутри не приближался никогда,
Никто не открывал их. Матово безстрастны,
Светились окна тускло, как слюда.
Лишь раз, когда толпа привычная текла, –
Одно из верхних брызнуло со звоном, –
И головой вперёд, сквозь этот звон стекла
Безвестный человек швырнул себя с разгону {32}.
С лицом, кровавым от удара,
Ныряя в смерть дугой отлогой,
Он промелькнул над тротуаром
И размозжился о дорогу.
Автобус завизжал, давя на тормоза.
Уставились толпы застылые глаза!

Толпу молчащую – локтями парни в кэпи,
Останки увернули, унесли бегом, –
Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой
И след засыпал беленьким песком.

Я на день сколько раз мальчишкой юлким,
На этажи косясь, там мимо пробежал
И поворачивал Никольским переулком
В крутой и грязный каменный провал{33}.
Промежду стен, домов, облупленных снаружи, –
Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков:
В дожди и в таянье со всех холмов окружных
Сюда стекались мутные потоки.
Из глубины огромного квартала
Сюда, на дно, где люков чёрная дыра,
ОГПУ опять домами выступало
И воротами заднего двора.
Что день, под тихий говор, жалобы и плач,
За часом час, кто в шляпках, кто в платках,
Здесь ждали женщины с узлами передач,
И с робким узелком, и с сыном на руках.
Я на день сколько раз притихшим мальчуганом
Их обходил, идя к себе в тупик,
Где в кучах мусора шёл ярый бой в айданы,
Где «красных дьяволят» носился резвый крик.
Громада кирпича, полнеба застенив,
Мальчишкам тупика загородила свет.
С шести и до пятнадцати в её сырой тени
Я прожил девять детских лет.
Чего ж ещё хочу? Какое мне начало?
Каких ещё корней ищу в моей судьбе?
Я мальчик был – ЧК мне небо заслоняла,
В солдата вырос я, она – в НКГБ.

—

Мы жили с мамой в тупике,
В дощатом низеньком домке,
Где зимний ветер свиристел в утычках щельных.
Мечась, ища – чего, не зная сам,
Приехал дед однажды к нам
В рождественский сочельник.
Попил колодезной воды
И пропостился до звезды.
Мы в шумный дом в тот вечер собирались,
Где в тридцать человек встречали Рождество,
Но для него

Втроём остались,
Размётанной семьи
Осколком.
Со взваром чаша. Блюдечки кутьи.
В серебряных орехах крохотная ёлка {34}.
Дрожало несколько свечей в её ветвях.
Лампада кроткая светила пред иконой.
В малютке-комнатке, неровно освещённой,
Огромный дед сидел – в поддёвке, в сапогах,
С багрово-сизым носом, бритый наголо,
Меж нашей мелкой мебелью затиснут.
Ему под семьдесят в ту пору подошло,
Но он смотрел сурово и светло
Из-под бровей навислых.
Дед начал жизнь с чебанскою герлыгой
В Тавриде выжженной, средь тысячных отар,
В степи учился сам, детей не вадил к книгам,
Лишь дочь послал одну – лоск перенять у бар.
Она выросла неприобретливого склада,
И мне отца нашла не деньгами богата –
Был Чехов им дороже Цареграда,
Внушительней Империи – премьера МХАТа.
Сникали долгие усы у старика, какие раньше
Носили прадеды его и деды на Сечи.
Светилась кожа мамина оранжево
От ёлочной свечи.
И тихо тёк покойный тёмный вечер.
Кивала мама мне, чтоб деду не перечил,
А он, подавленный, неторопливый,
С какой-то вещью скорбью говорил.
Раскрыла Библию на повести об Иове
Его рука {35} в узлах набухших жил.
...Сходились судьбы их, однако не совсем:
Начавши с ничего и снова став ничем,
Всё потеряв – детей, стада, имение, –
Молил смиренья дед, но не было смиренья!
Одиннадцатилетний, в утешенье
я дедушке сказал:
«Ты – не жалея.
Наследства б я из принципа не взял».

Ещё мы спали – дед поднялся, охая,
И, половицами скрипя, ушёл в собор к заутрене.
Ещё мы нежились в приятной тёплой судреме –
И вздрогнули от грохота:
Долбили в дверь ногою, как тараном.
На локте мама вскинулась с дивана,
К окну, к двери метнулась,
Опять к окну,

Немея повернулась:
«О Боже! Г П У!»
И двое их вошли в морозных клубах,
Огромных, чудилось, широкоплечих, –
В перепоясанных тулупах.
И дверь оставили распахнутой на стужу.
И сбили ёлку локтем неуклюжим.
Отпали ставни. Из кровати строго
Я в свете дня на старшего взглянул.
Лицо его чернело, закалев от ветрожога,
И круто выступали кости скул.
Будёновки засаленный шишак.
Петелька рваная. Чугунный подбородок.
«Гражданка Нержина? А гражданин Щербак –
Отец ваш – где?.. Ушёл молиться? Вот как...
Должно быть, есть что волку старому замаливать –
Поплёлся по такому холоду!
Ну что ж, гражданочка, а вам пока – вываливать
Золото».
– «Ка-кое?!» – «Жёлтое». – «Нет у меня». – «Но-но!»
– «Оно не нужно мне!» – «Так нам зато нужно!»
– «Ей-богу – нет...» – «Чего? Монет?
Не обязательно. Шитьём от эполет.
Посудой можно, бриллиантами и слитками,
Идём навстречу, понимаем.
И если золотом мундирчик вытканый,
То – принимаем».
– «Как странно... Бриллианты и посуда...
Прошло двенадцать лет. Откуда?
В голодный год на масло, на муку...»
– «Ку-ку!»
Я вам напомню: выдавлена проба
Такая – девяносто шесть{36}.
Взломаем пол, диван распорем. Обыск?..
Я знаю – есть!»
– «Товарищ, верьте, я...» – «Я не *товарищ* вам!
Я, может быть, руки вам не подам!
Я – *гражданин* для вас, мадам!
И вам придётся ехать с нами, если...»
– «Мне?.. Как же я?.. А сын?!..»
Он снял тулуп, уселся прочно в кресле:
«Но вам дороже – золото? Сын проживёт один».
Мать заметалась. Дрожью губ
Ловила воздух ли, молилась.
«Я не пойду! Я не могу!!»
И, пальцами хрустя, остановилась.
Упали шпильки – и рассыпались каштановые пряди
Её волос, причёсанных поспешно, –
Я видел только взгляд его, и в этом взгляде –

Усмешку.
Себя не помня, с потемневшими глазами
Я на кровати встал на помощь маме
И, весь дрожа, что мне в ответ
Над головой засвищет? –
«О чём ты просишь их? Сказала *нет* – и нет!
Пусть ищут!»
Но – улыбнулся старший. Я стоял.
Чуть до колен спускалась рубашонка...
Он подошёл и пробурчал:
«А? Выкормили тут волчонка...
Ну, расскажи, с кого берёшь пример?
Кричать ты, вижу, звонок».
– «А что грозите? Ордер есть? Я пионер,
А не волчонок».
– «Да... Цепкие растут они в советский век...
Читаешь что?» – Взял книгу. – «Лондон. Джек» {37}.
Я чувствовал, я знал, что с нами всё он мог.
Смутил меня в словах его задумчивый привет
И глаз жестоких размягчённый свет.
Мать успокоилась: «Не простудись, сынок.
Ищите. Нет».
Он сел писать. И, протянув ей лист,
Чернильницу придвинувши, сощурился чекист:
Не дрогнет ли её рука?
«Я... заверяю... золота ни грамма...
Во время обыска откроется... статья УК...»
Уже перо макнув, спросила мама:
«А обручальное кольцо?... О муже память... Ничего?»
Но младший вырвался: «Хо-го!
Какого ж чёрта вы молчите?
Тащите, дамочка, тащите!»
Ни на кого не глядя, от стола
Мать тихими шагами отошла,
Спиной к обоим стала,
Из бисерной шкатулки потемневшее достала,
Упала головой,
Губами и щекой
Прижалась, –
Вернулась лебединым шагом,
Взяла бумагу,
Расписалась.
Чекист швырнул кольцо, как будто горячо,
С ладони на ладони мякоть,
Спустил в карман – и с чем-то там ещё
Оно столкнулось тихим звяком.

Как всякий раз от литургии,
Мой дедушка вернулся тих и светел.

Под притолкой нагнулся, где другие
Не нагибались, и... заметил.
Ни бровью не повёл. Спокойно стал под образ,
Прочёл молитву вслух, перекрестился истово,
Как будто и не видел он гостей недобрых
Иль не признал чекистов в них.
Поцеловал, поздравил мать
И подошёл меня поцеловать.
И лишь когда усами жёсткими к щеке моей приник,
Я ощутил, как изнутри
Дрожал старик.
Подручный тотчас пересел к двери.
А старший, о-локоть на стол,
На скатерть – пепел от махорки,
Не отрываясь, снизу, зорко
За дедом следом взглядом вёл.
Дед выпрямился, снял кожух,
Подбитый вытертой мерлушкой.
Поставить ногу негде было в комнатухе, –
Он всё не видел этих двух.
И усмехнулся старший: «Что ж вы нас не поздравляете?
Захар Федорыч, а? На *Органы* ль вы злы?»
– «Шось я нэ чув,
шо вы Господни праздники справляеэтэ.
То – видколы?»
– «Ну, расскажите, как пришёлся вам собор?
Заутреня? Как – хор?
Служил – архиерей?»
– «Вин...» – «Замечательно. И с клиром?
Его послушать вы и ехали из Армавира?..
Да что вы смотрите на нас, как на зверей?
Мы – к вам... У вас – большой багаж?
С собою? На вокзале малость?»
– «Якый багаж? Хиба ж
У мэнэ шо осталось?»
– «Ограбили?» – «Дочиста».
– «В вагоне?!»
– «Ни. Та хай бы им сказаться – коммунисты.
Як був переворот. Шоб людэй грабыть,
Ума вэлыкого нэ трэба, мабуть».
– «Вот неприятность! Ай-ай-ай!..
Ну что ж, погреемся. Хозяйка, ставь нам чай,
Да, может, рафина-адик недоко-олотый...»
И вспрыгнул тигром: «От – ве-чай!!!
Где – золото?!»
Отпрянул дед: «Якэ?
Шо вы?»
– «Собака! Пёс! Такого слова
Не знаешь в русском языке?

Где золото?» – «Якэ?» – «А то, что в бочке.
В бочоночке! В земле!! В ларце!!!
Пятёрки николаевские! По мешочкам!
И то, что ты привёз до дочки...
Спиной, мадам... Вот подпись, ну!» – «О це?» {38}
– «Да, *це*! Она призналась, где ты прячешь».
Сверкнув глазами, дед отвёл бумагу: «Як скаженный,
Шо прычипывся ты до мэнэ?
Я бэз очёк нэ бачу».
– «Надень очки». – «Мэни нэ трэба. Сами и смотреть.
Ось, в роте едва зуба золотых – возьмишь,
А золота я никола не ймав
И нэ ховав».
– «А что ж ты *ймав*?»
– «Земли две тыщи десятин. Худобу».
– «Две тысячи??» – «Булы за мэнэ бильш».
– «А золото?» – «У зимлю сиять? Хлебобору
Якый з ёго барыш?»
– «И что имел – куда ж ты дел?» – «Куды?
Та я ж кажу – забрали». – «Кто?!» – «Жида».
– «Но столько лет ты чем живёшь? Каков твой труд?»
– «А побыраюсь я. Шо люды добрые дадут,
Хто в мэнэ запрежь зароблялы гроши».
– «И что ж, дают?» – «Дают. Хто хлиба, хто сальца».
Чекист ослабился: – «Ка-ким ты был хорошим!
За *ридного* отца?...»
Вздыхнул старик: – «Нэ так, як вы, хозяйнував:
Сам жив – и людям жить давав.
А шоб уси равны булы –
Того нэ будэ никола.
Нэ будэ нас, так будут иньши,
Ще, мабуть, гириши люды, злиши...»
Чекист поднялся резко: «Ну,
Там разберёмся, в ГПУ.
Не из таких в подвалах выбивали блажь.
Подумаешь – и зубы сдашь».

—

Но не нашли у деда золота. Отпущен был домой
Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной.
Два года жил ещё. Похоронил жену.
– «Пиду к *остроголовым* подыхать» {39}.
Нэ прожинут!»
Огонь глаза тускнеющие облил.
«Воны мэнэ ограбылы, убылы, так нехай
На гроши на мои хочь гроб мни зроблять».

Надел поверх рубахи деревянный крест,
В дверь ГПУ вошёл – и навсегда исчез.

Глава четвёртая. Ту, кого всего сильнее...

*Ту, кого всего сильнее
В мире любишь ты, – убей!{40}*

Из романа 20-х годов

Теперь уж кажется преданьем
Такой приветный щедрый дом –
Нароспашь, искренно, ребром –
Где рады близким, рады дальним,
Где остро спорят вокруг стола,
Где пьют-едят довесела,
Где заливаются девчёлки,
Где за минуту комнатёнку
То в зал расчистят танцевальный,
То разделят на десять спален,
Старинный ветхий шкаф зеркальный
Перенесут и повернут,
Где книг расходных не ведут,
И не считают ртов утайкой,
Где дышит доброю хозяйкой
Ненарушаемый уют.
Всё было просто. Все – просты.
Теперь не то. Теперь не так.
И если где горит очаг –
То двери заперты.
Всегда открытое радушье!
Тебя всё меньше в русской жизни.
Твой дар усталостью иссушен
И подозрительностью изгнан.
Наш быт рассчитан и суров.
Уж больше нет таких домов.

—

Немало лет прошло с тех пор.
От взгорбка Среднего проспекта,
Где взбросил в небо архитектор
Теперь уж снесенный собор,
Где в сквере, убранные в ленты,
Детей возили чинно пони,
Где спали львы на постаментах,
А на колончатом балконе

Встречали девушек студенты,
Где Банк приземистый с фронтоном
Улёгся чудищем ампира, –
Оттуда, в ряд домов втеснённый,
Стоял их дом неподалёку,
И в первом этаже квартира
Во двор сияла светом окон,
Звала субботами заманно,
Внутри гостей кружился рой,
Гудели струны фортепьяно,
Пел мягкий голос молодой:
*«Там, где Ганг струится в океан...
Где по джунглям бродит дикий слон...»*{41}
Их дом всегда открыт был нам:
Екатерина Николавна
Дружила с мамой дружбой давней
По гимназическим годам,
А Миша, сын её, – ровесник
Пришёлся мне, и складом в склад,
И страстью к странствиям чудесным, –
И я провёл у них полдетства,
Как сын второй, как сына брат.
Великий мир, подвластный нам!
То, бабушкину шаль распялив,
Мы вили в прериях вигвам;
То клад в пещере под роялем
Во тьме таинственной искали;
То, через комнаты бегом,
Хлеща собак, наперегон
Мы занимали на Аляске
Золотоносные участки.
Метнувши мнимым томагавком,
И сняв с врага привычно скальп,
Мы громоздили в кухне лавки,
Взбирались на вершины Альп.
Под стол, к браминам, в храм Бомбея
Нас вёл факир, знакомый наш.
Из кубиков фрегаты склеив,
Мы храбро шли на abordаж,
Вели корабль по Ориноко
Меж двух ковров полоской пола,
Грузили пряности Востока
На караваны Марко Поло.
Мир старых книг едва надчерпан –
Экранов первое мельканье! –
И д'Артаньян, и Дуглас Фербенкс{42},
И конквистадоры Испании!

Так вплоть до вечера, пока

Со стен, столов и с потолка,
Из абажуров разноцветных
Не вспыхнут лампы – беззапретно
Владели мы землёй ничейной,
Резвясь по всем её углам.
Но, затаясь благоговейно,
В отцовский строгий кабинет
Вступали, дерзостные. Там
Из многих стран, за много лет
На долгих полках по стенам,
То плотно сдвинув корешки,
То мелочь меж больших навалом –
Теснились мудрых книг полки
И стопы глянцевого журналов,
Как крылья бабочек яркие.
Отдельно в восемь этажей
Хранились кипы чертежей
На кальке, на миллиметровой,
Александрийской и слоновой {43},
В альбомах, папках и рулонах.
В углу остойчивой колонной,
Как снег, едва голубоватый
Отлив отбрасывая, – ватман;
Дубовый стол на зверьих лапах,
С крылом чертёжная доска,
Особый свет, особый запах
Журналов, туши, табака.

В шестом часу, портфель неся –
Подарок слушателей, в носке
Истёртый, пухлый донельзя,
Олег Иванович Федоровский
С работы тихо шёл, устав.
Его завидевши, стремглав
Бросались мы встречать. Забросив
За плечи шёлковые косы,
Едва касаясь плит двора,
Ирина, старшая сестра,
Бежала. Брат бежал быстрее
И не давал портфеля ей.
Олег Иванович с лет давнишних,
Всю жизнь над книгами сидя
И за фигурой не следя,
Одно плечо держал повыше,
Чуть горбился, был невысок, –
Ему по грудь тянулся Миша,
А дочь равнялась по висок.
Искря глазами сквозь пенсне,
Всех трёх обняв, спеша узнать

О школе, о минувшем дне, –
Он тут же нам давал решать
Задачку хитрую в уме.

За круглым столиком в гостиной,
Седая вся, с осанкой львиной,
Старуха в семьдесят два года,
Сухими пальцами в колоду
Французских карт собрав атлас, –
Опять не вышло в этот раз, –
Кивала зятю от пасьянса.
Держа гимназию, она
В былое время мезальянса
Боялась больше, чем огня.
Эмансипация и курсы,
Москва, Козихинский на Бронной...
– «Какой-то внук дьячка из бурсы...
Ещё студент?» – «Но одарённый!»
– «Белья – две пары... Не галантен».
– «Но, мама, слушай, он талантлив!»
– «Как за столом локтями двигал,
Fi donc!» – «Он милый, пригляди!»
– «Наш предок в Бархатную Книгу
Записан был!» {44} И – не сошлись.
И – врозь. Да где же было знать им,
Какая выгрохнет пора?! –
Ушли за море братья Кати,
Восторженные юнкера.
Все вихри русские сплеснулись,
Все судьбы щепками стремя! –
Простила дочь... Они вернулись
Уже с внучатами двумя.
Был зять из той людской породы,
Вся жизнь которой – знать и строить.
Такие стоили в те годы,
Да и когда они не стоят?
Рефрижираторы. Тепло.
Подземный газ. Турбокомпрессор.
Один диплом, второй диплом.
Конструктор. Инженер. Профессор.
– Из Шахт звонят. – Ждут в Сулине.
– Прочтите курс в Новочеркасске! –
И лишь тогда сменён был гнев
На снисходительную ласку.
А зять, нимало не заносчив,
Шутил, когда кругом свои,
Что попадёт он с этой тётшей
Не в ВКП, так в РКИ.

С обеда шёл Олег Иванович
Вздремнуть: читая поздно, за ночь
Никак не выспался он.
Звонил безстрастный телефон –
«Тепло и Сила» – там совет,
Из института. Если ж нет –
Засвечивался кабинет.
И целый вечер шли и шли,
И свёртки ватмана несли
Студентки робкие, студенты –
Самодовольно дипломанты,
С ленцой весёлой практиканты,
Неслышным шагом ассистенты.
В неповторимые те годы
Два стиля, две несхожих моды,
Два мира разных, два дыханья
Столкнулись в жизни обновлённой,
Их переплеск и колыханье
Рождали ропот напряжённый,
И этой недотканной ткани,
Переплетённой пестроты
Тянулись всюду туго нити:
– Товарищ Федоровский, *ты...*
– Олег Иванович, простите...
Кто властной поступью рабфака,
В косоворотке, френче хаки,
С ЛКСМовским значком:
За что боролись? При своём
Живём и учимся режиме! –
Кто в остро-круглых длинных *джимми*,
Носки открыты, в яркой клетке,
Утиный козырь мягкой кепки:
– Танцуем чарльстон! {45} Для вас
Не *Восемнадцатый* сейчас!
И только девушки, подвластны
Волнам парижских перемен,
Все дружно были в том согласны,
Что юбки носят до колен,
Чтоб чуть на кнопочках держались,
И чтоб колена обнажались! –
И ложных пуговиц рядки
Сверх скрытых кнопок нашивали
(Их юбки лет тех остряки
«Мужчинам некогда» прозвали).
Да сохранив отличья касты –
Фуражки, ключ и молоточек,
Тужурки с синью оторочек, –
От старой власти к новой власти
Из инженеров *совспецы* –

Шли русской техники творцы.
Так, дверь стеклянную заштора,
Всегда с дымком иссиза-бледным
Меж указательным и средним,
То консультируя, то споря,
Шутя, сердясь, доступен всем,
Он принимал.
А между тем...
А между тем в углу гостиной,
Отгорожённом у окна,
У своего стола Ирина
Сидела, к книгам склонена.
Пишу – Ирина, помню – Ляля –
Её в семье по-детски звали.
«Стол» говорю, а помню – столик,
Точёных ножек карий лак...
На нём по прихотливой воле –
Тетради, писанные в школе,
И многозначный пустяк,
Какой-то камешек с приморья
И снопик ландышей в фарфоре,
Фрагмент роденовской «Весны» {46},
Мал меньше меньшего слоны.
Вразброс над столиком висели
Её же кисти акварели
Неярких, вдумчивых тонов –
Прочтённых книг, неясных снов
И властной жизни отпечатки:
То у окна в старинной зале
Склонилась девушка, перчатку
В раздумьи смутном теребя;
То поезд в розовые дали
Уходит, дымами клубя;
Там – рвётся, сжавши боли крик,
В костре фанатик-еретик;
Тут – спад покойных мягких линий
И будуара сумрак синий...
Кто знает – как, когда, какую
Неизъяснимую тропюю,
Не зная разницы в годах,
Сама себя стыдясь, крадётся
Любовь в мальчишеских сердцах?
То ей обнять меня придётся,
А то послать за пустяком –
Несусь с готовностью бегом,
И тёмным боем сердце бьётся.
Ни слов ещё, ни тех понятий,
А вот – духи... коснуться платья;
Тайком, чтоб не видал никто,

В томлени радостном, незрелом,
Прийти и сесть на место то,
Где только что она сидела:
Бином. Арксинус. Вектор поля.
Ламарк. Бензольная основа.
Оторванность «Народной Воли».
«Реакционность Льва Толстого...»
Давно ль мы трое на тахте,
Усевшись в дружной тесноте,
Читали «Морица и Макса»? –
Но вот – *надстройка*. $T - D - T^2$.
«О Фейербахе» – Карла Маркса... {47}

Всё те же два, всё те же два
И в ней столкнулись мира чуждых:
Огняно-красные слова –
Нюансы сумерек недужных.
Из девушек тех кратких лет,
Лет ошельмованного НЭПа,
Двойной кумачно-лунный свет,
Палящий без огня до пепла, –
В ком сердца слабого не сжѐг,
В кого не впрыснул жидкой стали,
Зовя, толкая на прыжок,
В котором головы ломали?
Прибой трибун. Наплывы танго.
Многоречивый лепет муз...
Но свой жестокий табель рангов
На мраморных ступенях в ВУЗ.
Ранг первый – на руке мозоли,
Второй – потомственный рабочий,
Ранг третий – членство в комсомоле,
Четвёртый – гниль, буржуй и прочий.
Закон – мороз! да сердце зябко...
Нельзя без мягкости на свете.
И Лялю приняли («наш папка –
На паровозном факультете»)
Средь чертежей, средь новых лиц,
Расчётов, допусков, таблиц,
Сердечко девичье щемило,
Но группа школьная друзей
По вечерам собиралась к ней –
И всё опять как прежде было:
Движенье, хохот, шум при входе,
«Из слов слова» и «бой морской»,
Остап – «Телёнок золотой»,
Жестокий спор о Мейерхольде,

² Товар – Деньги – Товар.

Журнал домашний сгоряча,
Кроссворд, шарады, буриме{48} ли,
Там в лёгком цоканьи мяча
Пинг-понг стремительный, Джемелли,
Там рокот струн, напев свободный
Без боли к слову песни модной:
*«Ты, кого всего сильнеей
В мире любишь ты, – убей!
Ты мне так сказал,
Ты мне приказал,
Ма – га – ра – джа!»*{49}

Джемелли! Александр! Саша! –
Ему, герою школы нашей,
Мы поклонялись, детвора,
Ему дорогу уступали,
Его манеры повторяли,
Его с восторгом избирали
В бюро, в учкомы, в сектора.
Он итальянец был по деду,
Но русский речью и в чертах.
Он знал счастливые победы
В науке, в играх и в боях.
Взглянув в учебник для порядка
С едва небрежною повадкой
Блестящего ученика,
Он отвечал лениво-гладко,
Играя камешком мелка.
Лишь на истории одной,
К ошибкам зорек, в спорах злой,
Из головы своей богатой
На память сыпал он цитаты,
Изданья, мненья, имена,
Подробности событий, даты
И цифры плавок чугуна.
Он цену знал себе. Держался
Свободно, гибко тело нёс.
Темнел, гневясь. Блеснув, смеялся.
Высокий лоб его венчался
Зачёсом взвихренных волос.
На вечерах со школьной сцены
Он в зал бросал: «Сергей Есенин» –
И, замерев, следили мы
Из напряжённой сизой тьмы
За каждым брови шевеленьем,
За каждым губ его движеньем,
За звуком голоса его.
Быть может – детство, но второго
Я наслаждения такого

Не получал ни от кого:
Уйдя в себя, печален, тих,
Без завываний, благородно,
Легко, естественно, свободно
Умел читать он русский стих.
Заботой памяти не скован,
Он жил строкой, единым словом,
Как будто было самому
Ещё неведомо ему –
Что дальше? Будто бы рождались
И лишь при нас в стихи слагались
Переживания поэта.
И вот он сам, Джемелли сам,
Вожак мальчишеского света,
Сюда ходил по вечерам,
У Федоровских был как свой,
Неистошимый, озорной,
Шутник, актёр, душа веселья.
Но не всегда. Вдруг – нет неделю;
Вернётся – скован, насторожен,
Какой-то сдержанною, скрытой
Заботой внутренней встревожен,
Из уголка сторонний зритель
Забав досужей молодёжи.
То вдруг в окошко стукнет Ляле –
И не зайдёт – и с быстротой,
Накинув шляпку и пальто,
Она уйдёт с ним и гуляет
Глубоко за полночь. А то
Она нас двух возьмёт за плечи:
«Гостей не жду. Ко мне ни-ни!»
Но он придёт, и целый вечер
Они до ужина одни.

А в ужин, сколько их ни будь –
Один ли гость, гостей ли шайка, –
Ни им столовую минутъ,
Ни им раскланяться с хозяйкой.
От Ляли – молодёжь горохом,
Плывут от тёщи те, кто в летах,
И, настезь дверь, с весёлым вздохом
Идёт отец из кабинета.
Вершат одиннадцать ударов
Часы стенные о-шесть граней –
Шипит парок над самоваром,
И плещется вино в стакане.
И – все за стол! И вольный смех,
И говор воедино спаян,
И кажется, что меньше всех

Устал за сутки сам хозяин.
Кто с кем и что за чем – известно,
И смена блюд идёт проворно,
И на столе тарелкам тесно,
И вокруг стола душе просторно.
Винцом и шуткою согретый,
Так начинался вилок бег.
Отец с собой из кабинета
Не упускал зазвать коллег.
Приняв их запросто и мило,
К столу хозяйка подводила
Старинного любимца дома,
Механика и астронома,
Горяинова-Шаховского.
Седой полнеющий старик,
Учёный с титулом мирового,
Владелец шапочек и мантий,
Известный автор многих книг,
Не утерял ещё таланта,
Прикрывши грудь волной салфетки,
Следить за вкусами соседки,
Приправить анекдотом метким
Рассказ о новом *культпоходе*,
Прочсть из Блока мимоходом,
Новейший высмеять романс
(Джемелли: «Браво! Декаданс!»),
Над Маяковским посмеяться
(Задорно Ляля: «А Кузмин?{50}»),
И оживлённо среди мужчин
Поговорить о Лиге Наций,
О том, куда идёт страна,
И о записках Шульгина.
Среди гостей для полноты –
Ещё всегда две-три чёты
Мужей и жён, да неизменный,
Безпомощный, несовременный
Чудак – учитель рисованья{51},
Из тех, кто в коммунизм военный
Искал разгадок мирозданья.
Семьи не знавший, вечно холост,
Успехи лёгкие отринув,
Всю жизнь отдавший, чтоб на холст
Нанести одну – одну картину! –
Мучительно не находя
Достойных красок сочетанья,
Он сердцем всё не стыл, хотя
Лишь неудачи и страданья
В его скитаниях сплелись.
За сорок лет, в очках и лыс,

То захолустных пошлых театров
Излишне чуткий декоратор,
То разрисовщик по фарфору,
А то и вовсе не у дел,
Он странно нравиться умел
Проникновенным разговором,
Больным чутьём, вниманьем добрым,
Уменьем видеть красоту
И смело бросить яркий образ
В души смятенной темноту.

В разгаре ужин был, но спать
Нас с Мишей слали со середины.
Удел жестокий! Там в гостиной,
Ещё сойдутся танцевать,
Олег Иванович меж гостями
Разыщет жертву – полной даме
Платком глаза схватят вплотную,
И все, как дети, врассыпную, –
Бродить на ощупь в *Опанаса*,
Шарады в лицах представлять
И в *Папу Римского* играть.
В расчётах тонких преферанса
В углу, за ломберным столом,
Сойдутся старшие кружком;
И строки грустного романа
Учитель живописи Лялин,
Склонясь над зеркалом рояля,
Споёт:
*«Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,
Вы можете смеяться и шутить!..
А я старик седой, я пережил так много...»*{ 52 }
И всё,
И это тоже всё
Оборвалось...

—

...Вечером как-то спешил я к их дому,
Слякотью мартовской, поздней зимой, –
Перед дверьми их стоял незнакомый
Автомобиль легковой.
Тускло желтелся в дожде-косохлёсте
С визгом качаемый ветром фонарь –
Дверь отворилась – и странные гости
Вышли в ночную недобрую хмарь:
В гладких пальто одинаковых двое,

С поднятым чёрным воротником,
И между ними – отец, расстроен,
С беленьким узелком.
Видя меня – он не видел. И сердце
Сжалось, предчувствуя бль.
Вспыхнули фары – хлопнули дверцы –
Брызгая, вырвался автомобиль...

В дому ещё дымилось жертвоприношение
Каким-то злым, неведомым богам...
Лежали в грудах книги после потрошенья
И оползнями рушились к ногам.
Ковры комком. Столы и шкафы – настезь.
Бельё, посуда и постели в кучи свалены.
И – шкура на полу.
Как будто этой вот ощеренною пастью
Медведь налютовал, сорвавшись со стены.
Здесь сутки обыск шёл. А найден был лишь снимок
И унесён трофеем он один:
Съезд энергетиков; меж ними –
И Федоровский, и... Рамзин³.

Кто б знал тогда, что не удастся навести
В квартире этой – раз разрушенный уют?
Лиха беда – беде прийти,
А пабедки добьют{53}.

Исчез, как канул зять. И тёща в тех же днях
Была параличом разбита.
Недели не прошло – и Миша на коньках
Упал – ударился – сгорел от менингита.
В их мрачный дом, потуплен и стеснён,
Я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала немо:
Ведь вот, ты жив. Ты – жив. Зачем же он?
Зачем же он так рано взят на небо?
Но заболела Ляля. И
В день солнечный, скача через ручьи,
В день, бурно лившийся водою талой,
Я к ней пришёл. Она одна лежала,
Худые руки белые за головой держала,
Рукав халата повисал крылом безсильным птицы,
Сползала книга с одеяла.
И вздрогнула: «Серёженька! Иди сюда, мой рыцарь!
Что долго не был ты? Я так тебя ждала.
Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен!
Ну, расскажи – как школа? Я давно там не была...
Погода как? Снег почернел? И лужи?..
Шёл ночью дождь. Я ночью не спала,

³ Л. К. Рамзин – в 1930 был осуждён как «глава Промпартии».

К окну вставала, слушала из темноты,
Как трубы водосточные шумели...
Скажи, дружок, а ты...
Ты знаешь, где живёт Джемелли?»
– «Да кто ж не знает?!» – «А не выдашь тайну?..
Вот это вот письмо – мгновенно, моментально...»
– «Конечно, Ляля, дай!» Порывисто привстав,
За шею обняла меня ладонями в жару:
«...Но если не пойдёт с тобой,
не станет отвечать – добавь,
Что я – умру!»
Клонился день. Израненно тянулись облака.
Багрец и хмурь мешались над холмом Темерника{54}.
Ручьи стихающие морщило холодным ветерком,
И лужи подстывающие трогало ледком.
Запыхавшись, взбежал я лестницей крутой,
Взволнованным чутьём необычайное предвидя, –
Джемелли встал передо мной
Таким,
Каким
Я никогда его не видел:
Открытый лоб морщинами раскроен,
Упрямым гневом сдвинутые брови,
В распах сорочки – матовость груди...
«Сергей?! Входи!»
Стремительно втащив меня через порог
(А дверь на ключ! а дверь на цепь!), – по комнатам повлѣк.
«Тебе письмо!» – «Что с ней? Что с ней?»
– «Она больна!» – «Сядь. На пол. Так. Молчи.
А вот – моё. Моё письмо, Сергей,
От слова и до слова заучи».
Я стал учить, не понимая сам,
Какой же смысл разгорался по строкам,
Ещё не уловив их гибельную связь.
А он читал письмо, в окно косясь,
Прислушиваясь к лестничным шагам.
Шли к нам.
И на площадке стихли.
«Учи, учи!» – Ушёл. Стерѣг там кто кого:
Он – их ли?
Иль они – его?
Сжимая кулачками виски
В тиски,
Я одолел ещё с десятков строк.
Ударил в тишину звонок.
Потом как будто по железу процарапала отмычка.
Вернулся крадучись. Зажѣг, сломавши, спичку.
Прошёлся в угол, умеряя шаг.
«Ну – как?» –

«Ещё». – «Учи-учи. От слова и до слова».
Застыл, куря у косяка двери.
Я вспрыгнул на ноги: «Готово!»
Он сел спокойно: «Говори».
Горячим шёпотом, вздохлёб,
Я строку в строку повторил, –
И только тут, смотря на бледный потный лоб,
Я понял, что я заучил.

Письмо Джемелли

«Друг и невеста! Что, кроме боли,
Что, кроме зла,
Близость со мною тебе принесла?
Я был один у тебя – ты у меня не одна:
Ленинскому боевому подполью
Вся моя жизнь отдана.
Где я бываю,
Что я скрываю,
Что тяготит меня в нашей судьбе, –
Легко ли
Было мне лгать тебе?
Страшно сейчас тебе будет, – страшнее
Мог я тебя завести.
Время такое неумолимое –
Третьего нет пути!
Если сумеешь,
Любимая, –
Прости!..
Всё наше бывшее, всё наше прежнее
Я сберегу с благодарною болью.
Девушка милая! Девочка нежная!
Мы не увидимся больше с тобою.
Дом оцепили. Следят...
Вижу в окно их – дежурят у лестницы.
В прошлую ночь мой двоюродный брат,
По телефону простясь, – повесился...
Я б убежал, да бежать нам некуда!
И не могу – ожиданьем прикован:
Должен приехать ко мне человек один,
Если не арестован.
Пятеро суток мечусь в западне:
Только бы *ты* не пришла ко мне!
Пятеро суток бьюсь, как больной:
– Ты не приходишь! Что с тобой?
Выйду на улицу, брошусь путлять
И, зачумлённый, глазами ловлю:

Некого! Некого мне послать
К той, кого люблю.
Только скрывайся! Только молчи!
Только себя сбереги от лап их! –
Знают, что делают, палачи
Сталинского Гестапо!
Ты доживёшь – это всё переменится!
Снова придут революцией оздоровлённые дни.
Люди узнают, что подлинно ленинцы
Были – мы – одни.
Партию нашу трудно обманывать,
Класс-пролетарий подыметесь!
Нас растоптать не сумели Романовы, –
Где же *ему*, проходимцу? {55}
Вера в победу тверда моя:
В этом ли, в том ли году –
Мы воротимся, но я... но я...
Кажется мне – не приду.
Первые годы минуют, клубя,
Первого горя уляжется пыл, –
Кто-то придёт и полюбит тебя
Лучше, чем я любил...
Будь же свободною, дорогая!
Ты молода. Цвети. Живи.
Этим письмом я с тебя слагаю
Тяжесть нескладной моей любви...» {56}

Два раза нас перерывали стуком.
Надолго залился звонок.
Джемелли по-мужски пожал мне руку,
К письму оранжевый подставил огонёк.
В темневшей комнате письмо вздохнуло, заалело
И, в чёрный шорох съёжившись, сгорело.
«Не трись, малыш! Они боятся сами шума.
Им по ночам да кроликов выхватывать покорных.
Теперь беги, беги проворно
И ни о чём другом не думай!
Задержат – твёрдо отвечай, руби, чтоб верили:
Ты приходил просить – держи –
ракетку для пинг-понга.
А задержался? Марки выбирал: вот эти – Конго
И Золотого Берега.
Но – не задержат».
Он на цыпочках провёл меня сквозь кухню
И, в паутине, пыльное оконце распахнул.
Жестоко красная на западе заря уже потухла,
И вечер тёмной сыростью в лицо пахнул.
«Сарайчик видишь? Я спущу тебя на крышу.

Через забор – во двор – а он сквозной – и вышел.
Иди не сразу – сразу не иди.
Намелочи. Трамваями следы свои запутай.
Вскочил – проехал две минуты –
Сходи.
...И скажешь Ляленьке: фамилии моей она не знает,
И где встречались мы – не помнит этих мест.
Что легче б – умер я! Что ГПУ живых не отпускает
И не прощает верности невест».

«Что дважды два так часто – не четыре...»

Что дважды два так часто – не четыре,
Не знал я. Оттого был свят и нетерпим.
Узнал – и хорошо и смутно мне в подлунном мире,
И по-сердечному мне просто стало с ним.
Не привелось спираль наук исполнить.
От философии, от споров я поник устало, –
Искусства искорка осколком русских молний
Ко мне на камень сердца пала.
Ка-кая ло-ги-ка?! Моих родных в застенках
Терзали, – я – я рвался умереть
За слов их медь,
От доброты чрезмерной чрезмерно злых!
Цветов немного есть, но много есть оттенков,
И полюбился мне тогда один из них.
В те годы красный цвет дробился радугой,
И, жаром переливчатых полос его обваренный,
Я недоумевал речам Смирнова, Радека,
Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.
Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,
Что правды ни следа
В судебных строках нет, –
И я метался: что? –
Когда?
Сломило Революции хребет?
Делил их камер немоту – и наконец
В затылок свой я принял их свинец.

А годы шли. Цвета бежали за цветами,
Безшумно выскользнув, из красного ушла его душа –
И беззастенчиво внесли над площадями
Всё то, над чем глумились, потроша.
Сегодня марши слушаю по радио – шагают
Лейб-гвардии Преображенский и Измайловский полки!!{57} –
Что я? Где я? Мне уши изменяют?
Их марши бывшие играют –

Бывшие большевики...
Шли годы. Воздвигались монументы,
Вшивалось золото в чиновничьи мундиры позументом,
Ораторы коснели, запинаясь по шпаргалкам,
И на трибуны под унылые аплодисменты
Вожди являлись жирною развалкой.
И сверх могил, нарыхленных как грядок,
Парил немыслимый, неслыханный *порядок*.

Я помню зал Ленмастерских. Собрание рабочих,
Какие в годы те до изнуренья длились.
В однообразных прениях часами ночи
Часы вечерние давно сменились.
Молчали, хлопали, вставали в нужный миг.
Всё было, как заведено. Всё было, как везде.
И вдруг на сцену поднялся старик,
Очки, обмотанные ниточкой, воздев.
Он был – как старых пролетариев рисуют на плакатах,
Годов десятих неприлично ожившая быль.
В углубинах лица его осела черновато
Металла и металла спиленная пыль.
Никто не доглядел, когда просил он слова,
И не заметили, как был он неположено взволнован,
Когда, уставясь отрешённо в зал,
Глубоким голосом сказал,
Как в жизни говорят не в каждой
И говорят – однажды:
«Вот она – звёздочка – в сердце моём,
Зажжённая – Владимиром – Ильичом
В Тысяча – Девятьсот – Пятом!...»
Устало морщились: оратор!
Сейчас международных дел коснётся,
Гляди, за час до сути доберётся.
А он, вцепясь в трибуны аналой{58},
Гремел перед толпой,
Раздвинув междубровье:
«Зря
– баррикады
– строили
– встарь?
Зря, значит,
– мы
– умирали?
К ТРОНУ
– бредёт
– по рабочей
– крови
ЦАРЬ!
СТАЛИН!!!»

Партер откинулся, нагнулся бельэтаж,
И сладкий ужас оковал
Оцепеневший зал,
И слышно было, как упал
Стенографистки карандаш{59}, –
Слова, как кони, понесли упряжкой взбешенной,
Дробя по лбам, по головам, по памяти, по лжи, –
И кто-то крикнул одиноко: «Он – помешанный!»
И кто-то закричал испуганно: «Держи!»
На сцене топот,
В первом ряде шум, –
А он разил, разил их словом протопопа,
Безсмертный Аввакум!
Ему заткнули рот, уволокли за сцену,
Ещё донёсся хрип из-за кулис,
Забегали посланцы вверх и вниз, –
А зал,
Огромный зал –
Молчал...
И на трибуну, на замену,
Не сразу вышел кто-то полный.
Как верноподданного гнева сдерживая волны,
Застыл с рукою вскинутой:
«Товарищи! Спокойно. *Меры* приняты».

Глава пятая. Беседь

*...восстановить каторгу и смертную казнь через повешение.
(Из Указа Президиума Верховного Совета, апрель 1943.)*

Я там не жил. Я не там родился.
И уже не побываю там.
А ведь вот как сердцем природнился
К этим недобычливым местам...
Топь. Да лес. Пшеница не возьмётся.
Нет бахчей. Сады родят не буйно.
По песку к холодному болотцу
Только рожь да *бульба*.
На пригорках – серые не машущие *млыны*.
На толоках – жёлтые без запаха цветы.
Церкви обезглавленные... Срубы изб унылых...
Гати хлипкие... Изгнившие мосты...
Турск, Чечерск, Мадоры и Святое...
Жлобин... Рогачёв...
Что-то я оставил там такое,
Что уж больше не вернётся нипочём...
Вечно быть готовым в путь далёкий,
Заставлять служить и самому служить, –
Снова мне таким бездумно лёгким
Никогда не быть.
Отступаем – мрачен, наступаем – весел,
Воевал да спирт тянул из фляги.
Ола. Вишеньки. Шипарня. Беседь.
Свержень. Заболотьё. Рудня-Шляги.
Страх, и смех, и смерть солдатская простая...
Днепр и Сож. Березина и Друть{60}.
Что-то я такое там оставил, –
Не вернуть...

—

Доходя до быстрой мути Сожа,
В прутняке, в осиновых лесках,
Осенью холодной и погожей
Медленная Беседь стынет в берегах
Озерком без ряби и без стрежня.
Изжелта-багряный прибережник
Ветви вполреки переклоняет...
В тихую погоду
Слышно, как на воду

Дерево листы свои роняет...
Хорошо сюда прокрасться в тишине,
Белку высмотреть, услышать мыши шорох, –
Хорошо сюда вомчаться на коне,
В хлёт ветвей, копытом в жёлтый ворох,
Выпугнуть ушкана-зайченёнка –
«Э-ге-ге!» – кричать ему вдогонку.
Мы ж врубались в эту дремлющую глушь
Шалыми размахами армейских топоров,
Со змеиным стрепетом *катюш*{61},
В перегуле пушек, под моторный рёв.
От Десны рванувши вёрст на двести,
Мы за Сожем с ходу заняли плацдарм
И, пройдя, покинули деревню Беседь
Штабам, журналистам, комиссарам.

Тяжек был плацдарм Юрковичи-Шерстин.
Много мы оставили голов
У его поваленных осин,
У его разваленных домов.
Жилку тонкую единственного моста
Мины рвали...
Что ни день – в атаку подымались ростом –
И в сырые норы уползали.
Тёмной ночью осени, отрезанных от армии,
Били нас, толкали нас в чёрную реку –
Бой по расширению плацдарма!
Кто поймёт твой ужас и твою тоску?
Вся в воронках мёртвая, открытая земля...
Всё изрыто, всё, что можно рыть, –
Ни бревёнышка, ни локтя горбыля
Над собой окопчик перекрыть.
День и ночь долбят, долбят, долбят
В тесноту людскую,
И не ляжет ни один снаряд
Впустую...
В рыжей глине пепельные лица,
Штык копнёшь – она уже мокра, –
Деться некуда! Убогий клочок землицы,
Километра два на полтора.
Нас и нас клюют из самолётов,
Нас и нас секут из миномётов,
Шестиствольным прошипеть, прорывкать *скрипунам*{62} –
Жмись к земле! И эти все – по нам!..
День и ночь сапёры мост латают,
И в воде связисты ловят провода, –
Немцы сыпят, сыпят на мост – и сливает
С моста розовенькая вода...
Связь наладят – и с Большой Земли

Сыпят, сыпят в Бога, в крест и в веру:
– Залегли,
Такую вашу мать?
До последнего бойца и офицера
НА – СТУ – ПАТЬ!!!

—

Как-то раз в щели, на вымокшей соломке,
Дудку стебелька безмысленно жуя,
Опрокинулся, не знаю – я? не я?..
Я не слышал – били тихо? громко?
Плохо видел – что? темно? светло?
Вся душа – одно дупло,
И направить – ничего не мог.
Я отерп, не помнил я ни прежних лет, ни дома,
Только вот жевал, жевал трубчатый стебелёк
Соломы,
И дремадушила, как стена.
В щель – боец, с земли переклонённый:
«Где комбат?.. Товарищ старший лейтенант!
Вызывают! В штаб дивизиона!»
Штаб? Какой там штаб?.. Ах штаб!.. Да будь ты трижды!
Где-то живы люди? Пусть живут, но лишь бы
Нас не трогали. Да драть их в лоб с комдивом –
Это вылезать и ехать под обстрел?
Мост-то как? Неуж' на диво
Цел?
Ха, гляди! *Культурно рус воюет!*
Год назад не встретить бы такую
Распорядливую переправу:
Вскачь коней! Шофёры – газ! Не кучась,
С правого – на левый, с левого – на правый, –
Есть ещё солдаты на Руси!
Ветерком на левый берег, в кручу –
Выноси!
И теперь уж рад, что я хоть начас вызван
Из проклятых мест, из чёрной ямы той,
Глубоко вдыхая воздух жизни,
Медленно я ехал просекой лесной.
Лес бурлил. Здесь двигались открыто.
На пору худую блиндажи покрыты
Были в два, и в три, и даже в шесть накатов.
Как всегда, шофёры первыми наглели –
Заведя машины мелко в аппарели,
Под осколки выставили скаты.

ПМП⁴, конюшни, склады – не ступить!
Лес редя, стволы пилили и валили,
Тракторами к котлованам их тащили,
И дымили кухни, и топить
Собирались баньку полевую,
Батарея пушек занимала огневую,
Батарея гаубиц с поляны надрывалась,
Раздавали водку радостной толпе {63}, –
И в войну играло, и скрывалось
Только генеральское НП⁵.
Как это устроено! – приди сюда из тыла –
Здесь передовая
И куда какая! –
Жить тебе не мило,
Свет тебе не мил, –
А приди сюда с передовой
– Тыл
Какой!..

–

Беседь – вся в сугробах серого песка.
Люди, лошади, машины – ни свободного домка.
Мастерские, рации – бомбёжкой не сдунь их! –
Всё забито в банях, всё забито в клунях.
Улицей мелькали в беленьких халатах
Девушки из медсанбата:
Редко – скромная (солдатской истой доли
Волею? неволею? отведать привелось),
Больше – дерзкие, балованные в холе,
Набекрень кубанки на копне волос.
Из-за Сожа доносился бой,
Утомлённо били батареи.
Кроткое, неяркое, низко над землёй
Плыло солнце осени, не грея.
В штабе – занавески накрахмалены.
Бьют часы. Простелены дорожки из полсти.
На стене – плакаты: два – со Сталиным,
«Папа! Убей немца!», «Не забудем – не простим! {64}»
Писари выкрипывали чётко.
Буркнули при входе: «Здравия желаем».
– «Как, орлы?» – «Да плохо». – «Что же?» – «Самоходка.
Что ни ночь – *кидает*. Отдыху не знаем».
...Как положено, комдив меня ругал:

⁴ Передовой медицинский пункт.

⁵ Наблюдательный пункт.

– «Вот что... это... я тебя... не вызывал...
Думал – опытный... сумеешь... это... возлагал...
Ночью был налёт! по корпусу!! по штабу!!!
Кто стрелял?? Не знаешь? Ну, сбреши хотя бы...
Мне вот надо к ним, а спросят цели?.. не могу...
Вы – мышей не ловите на правом берегу!
Что-то я не вижу *огневой культуры*.
Можете идти!» Я – в дверь. Из двери – замполит:
– «Обер-лётанант! Здоров! Ты почему не брит?
Вот тебе газеты, вот тебе брошюры, –
Разъяснить, раздать. Провёл политбеседу –
“Смерть за смерть и кровь за кровь”{65}?
На вот, переделай вновь
И верни, чтоб завтра же к обеду –
На бойцов доклады наградные:
Коротки одни, растянуты иные.
Подвиг Рыбакова как-то слишком выпячен,
Подвиг Иванова по стандарту выпечен».
Я шагнул – и помпохоз тут: «Подтверждайте ж факты!
Если потонуло трое карабинов –
Дайте акты!
А с бензином?
Против нормы пятерной перерасход?!
Дайте оправдательный отчёт!
Эй, Москва слезам не верит! Что, велик оклад?
Вычтем, вот в двенадцать с половиной крат!»
За рукав – парторг: «Ну, как там ваш народ?
Заявления о *приёме* подаёт?
Твоего – не видно.
Покажи пример.
Стыдно! –
Офицер!»
Помначштаба: «На-ка вот армейские приказы.
Очень важные, знакомься, не спеши».
Тут начхим: «А как у вас противогазы?»
Тут и врач: «А баня как? А вши?»
Я – вслужился, знаю доблесть воина:
Козыряю – слушаю – не слышу.
Всё равно я сделаю по-своему,
А они по-своему опишут.
День не первый в армии, с порядками знаком.
Прикажите на небо – прищёлкну каблуком:
– «Разрешите ехать?» Но начальник штаба:
– «Оставайся ночевать. Торопишься – куда?
В волосах – соломка... У тебя там – баба
На плацдарме, да?»
Руку на плечо мне положив с приятнью:
– «Нержин! Ты когда-нибудь на настоящей казни
Был?..»

—

Там, где улица села кончалась
И кустился ельник, там, у свежего столба,
В уброд по песку глубокому собиралась
Зрителей толпа:
Подполковники, майоры, лейтенанты,
Девушки-ефрейторы, мальчишки-сержанты,
Смершевцы, врачи, политотделыцы,
Бабы здешние в платочках, мимоезжие гвардейцы.
Место лобное – нехитро, без затей.
Всё готово:
В бурых полосах, едва обтёсан, столб сосновый,
На столбе наставка, крюк на ней.
Ровно в пять дорогою из тыла
Подкатил по гати лёгкий «виллис» {66}.
Два полковника в машине было.
На средину вышли и остановились.
С узкими погонами юристов были оба –
Низенький еврей и русский, крутолобый.
Пистолетным ремешком играя,
Маленький визгливо крикнул: «Приведите!»

Вышли двое автоматчиков из свиты
И с заносом распахнули полотно сарая.
Вывели. Одет в гражданское, кой-как.
Полусонный. И соломка в волосах взлохмаченных.
Руки за спину связали. Смотрит озадаченно.
– Он не немец? – шепчут. Нет. Русак.
На толпу уставился. Меж автоматами хромая,
Подошёл спокойным вялым шагом.
– Не читали приговор... – Не знает!.. – Он *не знает!*..
Маленький полковник развернул бумагу,
Переправил матовую портупею
Щегольской планшетки.
Старшина с широкой красной шеей
Вынес и под столб поставил табуретку.
Неестественно, с руками за спиной,
Опустивши голову, глаза потупя,
Подсудимый стал, как тот актёр плохой,
Чтоб с галёрки видели, что он преступник.
Рваные портки. Ошмыганная блуза.
Слышал он? не слышал? как судья картавил:
«Именем Советского Союза...
Трибунал... дивизии... в составе...»
Не могли найти чтеца другого!

Торопливо выплюнет два слова,
За губой другие два оставит:
– «Родине... изменник... Николаев...
Будучи... немецких оккупантов...»
Напряжённо сгрудились, внимая,
Бабы робкие, лихие лейтенанты.
Рыжий столб лучом последним золотя,
Заходило солнце жёлтое за Сожем,
В трёх верстах, за лесом, в грохоте и дрожи,
В очередь пикируя, бомбили, залетя,
Переправу «юнкеры» одномоторные.
Выше них, над ними, лёгкие, проворные,
«Яки» с «мессершмиттами»
Дрались,
И в дыму и в пламени валились вниз
Самолёты сбитые.
С переправы в «юнкеров» зенитки
Густо и неметко хлопали.
Белые разрывы вспыхивали хлопьями.
...Эх, сейчас сапёры, вымокнув до нитки,
Брёвна уплывающие ловят, чем придётся.
И никто, никто туда не обернётся!
«По апрельскому указу... по статье... казнить...»
И не вскинут глаз, как подошла в зенит
Сквозь закатно-солнечную невидь,
Замерла над головами прямо
«Фокке-вульф сто восемьдесят девять» –
Рама{67}.

Нет, гвардейцы видят. Вот её заметил
Из штабных один. За ним другой и третий,
Бросив слушать, головою запрокинулся,
Вот ещё, ещё – и вся толпа.
Кто-то от середины в сторону подвинулся,
Кто-то прочь шарахнулся сглула.
Приговор умолк. С надеждой напряжённой
Поднял голову на смерть приговорённый,
Приглашая судей вместе умереть.
Ей, разведчику дотошному, сквозь трубы
Наше стадо до песчинки рассмотреть –
Много ли труда?!

Ну бы
Бомбочку сюда?!

И была, была одна минута:
Кто умрёт – качалось на весах,
Будто бы решалось не людьми, не тут, а –
В небесах.
Но – была ль она без бомбового груза
Или бомбы на другое берегла, –
Оставляя в силе «именем Союза»,

Рама дрогнула – и уплыла.
Все вздохнули. Застонал негромко
Подсудимый, опуская взор,
И полковник чёрный кое-как докомкал
Приговор.
Крутолобый раскатил поверх голов: «Понятно?!»
Грохот переправы... Тишина...
И тотчас же, очень аккуратно,
Приступил к работе старшина.
Ни движенья лишнего. На всё – ухватка:
В спину – толк! – к столбу направил, не грубя,
Там его поставил около себя,
Первый взлез и снасть проверил для порядка.
Крюк найдя добротным и хорошей –
Толстую верёвку,
Человека, не нутужась, взвошил,
В петлю головой просунул ловко,
Петлю сузил, оглядел кругом –
Не легла ли ниже или выше, –
Спрыгнул – и мгновенно сапогом
Табуретку вышиб.
А повешенный, до смерти домолчав,
Застонал теперь, задёргался, хрипя.
Может, думал он, что он – кричал?
Может, помощи искал вокруг себя,
Когда стал он медленно кружиться,
Поворот за поворотом обходя, –
Словно бы искал он дружеские лица
И отвёртывался, не найдя.
За спиной его сгибались,
Разгибались
Десять пальцев – каждый по себе! –
Словно он считал свои мученья,
Словно пересчитывал мгновенья,
Прожитые на столбе.
Заслудило незакрытые глаза его,
Рот застыл, как корчился, дрожа, –
И не стало больше Николаева,
А остались два спинных тяжа:
Правый, левый – каждый сам собой,
То плечо подкинет, то тряхнёт ногой –
Как на ниточках невидимых Петрушка{68},
Как под током мёртвая лягушка,
Танец небывалый, танец дикий
Выплясал и – весь...

– «Что с тобою, Нержин, погоди-ка!..
Ночевать останься!» – «Ехать надо. Шесть».
Утопая вязко по песчаной толче,

Расходились люди. Расходились молча.

Ночевать? Нескоро тут привыкнешь.
Легче ехать в ад плацдарменной ночи.
Николаев! Почему не крикнешь?!?
Почему – молчишь?..

«В день, когда узнал я вас по имени...»

В день, когда узнал я вас по имени,
Бытию и плоти вашей я не придавал веры.
Это было в мае. Из болот, от Ильменя,
Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь.
Ни зерна ржаного. Ни плода. Ни огородины.
Край тургеневский, заброшенный и дикий...
Вот когда я понял слово *Родина* –
Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики, –
Горьким, серым, твёрдым, как булыга,
В мелких чёрных блёстках, как угля кристаллах...
Сморщенная бабушка невсхожею ковригой
Нас, солдат голодных, угощала.
Были мы обстреляны и на пустое слово – кремни,
Но, выдав под Руссой только ржавую болотистую мредь,
Мы сошлись на том, что здесь, за эту землю,
Как-то и не жалко умереть.
То весенним дождиком омыта,
То теплом безудержным облита,
Не обсеяна, – травинками тянулась к благодати,
Колыхая радостную боль в солдате.
Перекрестки, церкви, избоньки косые
Оспины войны носили.
На горе алели на закате
Камни неживого Новосия.
По овражкам – мирные ручьи.
В сочных рощах – соловьи!..
В полдень – пчёл жужжание. Степных цветов головки.
По колено – шелестящая духмяная трава.
И в стеблях её запутались листовки
О какой-то армии РОА,
О Смоленском Русском Комитете,
Имена неизвестные, Власов на портрете {69}.
Не скрестясь в бою – в листьях, дождями съёженных,
Нам *сдаваться* предлагали нагло.
Так это казалось мертворожденно!
Так это немецким духом пахло!
И написано – чужой рукой, без боли,
Русскими? Не верилось никак.

И рассеивал-то их по полю
Равнодушный враг.
Но – пришлось поверить. Наши одноземцы
В униформе вражеской держали оборону
Намертво! дрались отчаянней, чем немцы! –
Для кого? – несчастные! – для чьей короны?..
Легче немцам было к нам попасть, чем русским.
Наши ваших, ой, не жаловали в плен!
...Помню дымный жаркий полдень под Бобруйском,
Взрывы складов и пожарищ тлен.
Закипающее торжество *котла*!
На дыбках и впереверть немецкие машины.
По шоссе катилась, ехала и шла
Наша победившая лавина.
Хруст *крестов железных* под ногами,
Треск противогозов под колёсами,
Туши восьмитонков под мостами,
Целенькие пушки под откосами,
Битюги, потерянно бродящие стадами,
«Фердинандов» обожжённых розовый металл{70},
Из штабных автобусов сверкание зеркал,
Фотоаппараты, рации и лампы,
Пламя по асфальту от разбитых ампул,
Ящиками порох, бочками бензин,
Шпроты вод норвежских и бенедиктин.
А навстречу, без охраны, бесконечной вереницей
Тысячами шли усталые враги,
У переднего записка: «Посылаю фрицев.
Кто там будет ближе – в плен им помощи».
Обессиливши, ложились у дороги и вставали,
И, поддерживая раненых, опять брели.
Их не трогали. Из них шофёров выкликали
И сажали за трофейные рули.
Но когда под иззелена-серым
Дознавались братца-землячка, –
Прыгали, соскучась,
Окружали, скучась,
Матерились, били
Или,
Взглядом допросясь у офицера
Дозволяюще-небрежного кивка,
Отведя в сторонку, там решали участь
Облачком дымка.
Робкой группкой, помню, шло вас до десятка,
Я катил своих машин шестёркой,
Спрыгнул на ходу и, развевая плащ-палаткой,
Опустился перед вами с горки.
Руки на-грудь, замер изваяньем:
«Русские? – «Так точно». – «Власовцы?» – Молчанье.

Вдруг поняв, что я принёс не злое,
Сдвинулись ко мне с доверчивым теплом,
Словно лоб мой не таврён эмалевой звездой,
Ваша грудь – серебряным орлом.
Оглядысь – не слушает услужливое ухо? –
Я не больно вольно княжествую сам, –
Гневно, повелительно и глухо
Я сказал, переклоняясь к вам:
«Ну, куда, куда вы, остолопы?
И зачем же – из Европы?!
Да мундиры сбросили хотя бы!
Рас-сыпайсь по деревням! Лепись по бабам!...»
Онемели. Почесали в затылях.
Потоптались. Скрылись в зеленях.
И хотел бы верить, что с моей руки
Кто-нибудь да вышел в приймаки.
На шоссе взбежав, я сел, поехал дальше.
Солнце било мне в стекло кабины.
Потаённые я открывал в себе глубины,
О которых не догадывался раньше.

...Вашей жизни, ваших мыслей след
Я искал в берлинских передачах { 71 }
И страницы власовских газет
Перелистывая наудачу –
Подымал на поле боя и искал чего-то,
Что за фронтом и за далью скрылось от меня.
И – бросал. Бездарная работа,
Шиворот-навыворот советская стряпня:
То артист заезжий выступал паяцем,
Тужились смешить поэмкой «Марксиада»
Со страниц листка, –
Но от этого всего хотелось не смеяться:
Душу опустелую рвала досада
И тоска.
Зренья одноцветного, мертвенности руки
Я узнал разгадку много позже:
Всё это писали, оскоромясь, те же, тоже
Школы сталинской политруки.
Утолить мою раздвоенность и жажду
Мог бы кто-то, на тропу мою война его закинь,
Но – не шёл. Лишь подразнить однажды
С власовцем таким свела меня латынь.
Хоть *латынь из моды вышла ныне*
(Да была ль ей мода в вотчине монголов?) –
Я люблю мужскую собранность латыни,
Фраз чекан и грозный звон глаголов.
Я люблю, когда из-под забрала
Мне латынью посвящённый просверкнёт.

В польскую деревню на закате алом,
Выбив русских, мы вошли. На полотне ворот,
Четырьмя изломами черты четыре выгнув,
Кто-то мелом начертил врага эмблему
И, пониже, круглым почерком: «*Hoc signo
Vincemus!*»⁶
Кто ты, враг неведомый? Ты с Дона? Или с Клязьмы?
И давно ли на чужбине? и собой каков?
И кому писал ты? Разве
Учат Тита Ливия в гимназиях большевиков? {72}
И ещё – что ослепило вас, что знак паучий
Вы могли принять за русскую звезду?
И – когда нас, русских, жизнь научит
Не бедой выклинивать беду?

Для поляков клеили Осубкины⁷ воззвания...
Шли эР-эСы⁸ в пыльном розовом тумане...
Реактивный век катился по деревне...
Я стоял перед девизом древним
Как карфагенянин {73}.

⁶ С этим знаком победим (*лат.*).

⁷ Осубка-Моравский – глава марионеточного польского правительства.

⁸ Реактивные снаряды («катюши»).

Глава шестая. Ванька

И напишут в книгах, и расскажут в школах,
Как бойцы стальные выбили врага
За Днепра священные брега,
Сев на башни танков, промеж пуль весёлых,
«Агитатора блокнот» сжимая, как сокровище,
ДОТы затыкаячи то мякотью, то грудью, –
И никто не бился лбом о Малые Козловичи,
И никто не гнил, покинутый за Друтью...
В мартовское хилое погодые{74}
На плацдармах – всемерно тоска:
Ночь от ночи слушай – половодьем
Не взломило лёд? не тронулась река?
Недолга и ненадёжна белорусская зима.
Хорошо, что кто-то, очень старший,
Догадался за добра ума
И своею волею монаршей,
Указующий под Жлобин устремля,
Бросил нас туда форсированным маршем,
Через лёд, болота, чащи, голову сломя, –
Так стремительно, как будто главный бой
Там не выиграть без нашего дивизиона.
Прибежали – тих, покоен лес пустой,
Наледень на ветках оголённых,
На сугревах – первые проталины,
Лужами в ложбинках талая снежница,
И когда ударит где-то пушка дальняя,
В блиндаже у печки так уютно спится...
Временами – оголтелый бой,
Сонный мир – такой же полосой, –
Кто б тебя, война, иначе вынести мог?
Распускающейся медленной весной,
Прикорнувши на полянке в солнцепёк,
Набирайся соков с лесом и землёй!
Голубою глубию небо налилось над нами,
Распушились ветви, жили птицы в них,
Фронтные лошади резвились табунами
Вольной травкою пролесков луговых.
Но, живя на фронте, жди худого дня.
Солнце – на весну, и в штабах колготня.
Заметались «виллисы» дорогами лесными,
Зазвонили телефоны в полночи,
Пушки шли ночью, пехота шла за ними, –
И с высот штабных к нам докатилось снова:
«Срочно!»
Через Днепр – на место старое опять!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.